

Маги начинают и выигрывают

ДЖАРИНА ЕМИНА



ГОЛОДНАЯ БЕЗДНА

Annotation

У Нью-Арка сотня лиц и тысяча жадных ртов, ведь Бездна, над которой он построен, вечно голодна. И вновь исчезают на улицах дети, в подпольном баре расстреливают бутлегеров, а из реки вылавливают очередное тело старлетки-светлячка с лилией во рту. Вот-вот разразится новая гангстерская война, а проклятая Свирель, оказавшись в чужих руках, откроет врата в Бездну. И чтобы предотвратить возвращение низвергнутых богов, Мэйнфорд, старший малефик полицейского управления, должен отыскать того, кто начал большую игру. Но что может он сам, способный слышать голоса города и потому почти обезумевший? Разве что попросить о помощи новую чтицу. Правда, она, кажется, ненавидит Мэйнфорда... Впрочем, какое это имеет значение для дела?

Карина Демина
Голодная бездна

Глава 1

Мишка боялся темноты.

Тельма совершенно точно знала, что ее плюшевый мишка боялся темноты. И шорохов. Чужих людей. Он был вообще очень боязливым, что, конечно, совершенно неприемлемо для медведя. Но няня утверждала, что конкретно для этого медведя можно сделать исключение ввиду его плюшевости.

– Не бойся, – уверенным шепотом повторила Тельма и на всякий случай подняла ноги.

Под кроватью копошились тени.

И пахло плохо.

Нет, не под кроватью, но вообще в доме. В их с мамой доме прежде никогда так не пахло. И чужие люди, если и появлялись, то вели себя иначе, чем нынешние. А так... пол скрипел. Кто-то с кем-то разговаривал и громко. Кто-то даже ругался – немыслимое дело. И Тельма зажала медведю уши.

– Не слушай, – строго сказала она, – это плохие слова.

Она все-таки решилась сползти с кровати.

И медведя взяла. Пусть самолично увидит, что за порогом ничего ужасного не происходит.

До порога целых семь шагов. И дверь открывается беззвучно. В коридоре темно, и медведь требует вернуться. Позвонить няне. Тельма же качает головой: она звонила трижды, но няня, обычно являвшаяся сразу, теперь почему-то задерживалась.

А вдруг что-то случилось?

Тельма не хочет думать о таком, но дурные мысли лезут в голову. О ворах. Или о том убийце, про которого рассказывала миз Картерс, повариха, а мама ее еще отчитала за то, что горничным головы всякой ерундой забивает.

Откуда на Острове убийцам взяться?

Внизу горел свет.

А люди, которых Тельма слышала распрекрасно, куда-то исчезли.

Мамины гости?

Мама бы предупредила. Она всегда предупреждала, когда приходили гости. И даже разрешала Тельме немного посидеть, конечно, если Тельма вела себя подобающим образом. А она всегда вела себя подобающим образом, ее все хвалили, а мистер Фоккер обещал, что когда Тельма подрастет, то он возьмет ее в свой театр. Это было бы замечательно – работать в театре вместе с мамой.

Лестница казалась бесконечной.

А коридор, опустевший, освещенный тускло, пугал уже не только медведя.

Тихо... когда гости, тихо не бывает. Миссис Фокс играет на пианино, а мама поет, или еще Лючия, которая очень толстая, но это потому, что у нее голос волшебный и худеть ей никак нельзя. Поэтому для Лючии готовят эклеры и корзиночки со взбитыми сливками, а еще ставят вазу с сырыми куриными яйцами, от которых голос становится мягче.

Нет, Лючию Тельма услышала бы.

Она прошла мимо приоткрытой гостиной, остановившись на мгновение.

– ...Боги милосердные... я виноват... – Тельма не видела мужчину, но лишь тень на пороге. – Я должен был предвидеть, что она...

Гаррет.

Откуда он взялся? Он ведь уехал. Мама сказала, что Гаррет уехал на весь уик-энд. И что когда вернется, они поженятся, и тогда Тельма сможет называть Гаррета папой.

Глупость какая.

Тельма ведь не маленькая, она знает, что Гаррет – вовсе не ее отец, и он тоже знает. И вообще, он ей совсем не нравится, даже больше не нравится, чем мистер Найтли, который как-то бросил, что Тельма поразительно некрасива. Но мистера Найтли Тельма простила, он, в конце концов, правду сказал, а вот Гаррет лгал.

Только мама почему-то не видела.

И сияла рядом с ним ярко-ярко. Ей даже новый контракт предложили в синема-сериале, и мама согласилась, потому что за синематографом будущее и, быть может, театры вообще отомрут. Конечно, мистер Фоккер сердился, он синематографистов не любил, все твердил, что они извращают самую суть высокого искусства, но мамин агент сказал, что нельзя упускать возможность... сложно все во взрослом мире.

– Прекрати. Что ты мог знать? – этот голос был незнаком, как и тень – коренастая, разлапистая, отдаленно похожая на старый дуб. – Что ей придет в голову избавиться от ребенка?

Тельма нахмурилась.

Нехорошо подслушивать чужие разговоры. И мама разозлилась бы, узнай она, но... что-то мешало Тельме поступить так, как надлежит поступать воспитанной юной леди.

– Я... я не собирался их бросать! Нет... конечно, об официальном признании и речи быть не могло... ты ведь понимаешь... моя карьера... меня бы не поняли, если бы я... одно дело – знакомство с мисс Деррингер, и совсем другое – роман...

Роман – это книга.

Толстая книга, которых в библиотеке множество, и некоторые Тельме трогать не дозволено, потому что они написаны для взрослых. А иные и вовсе заперты, но Тельма книг не любит.

Скучные.

Нет, она умеет читать и читает, ведь если пойдет работать в театр – а она непременно пойдет работать в театр, когда вырастет, – ей придется читать и сценарии, и роли, и вообще много чего. Да и мама радуется, когда учителя хвалят Тельму.

– До выборов всего полгода... и у меня отличные перспективы... но я бы никогда не оставил своего ребенка... и Элизу... зачем она?

– Если хочешь, вызовем тещу...

– Нет! – от этого крика Тельма отпрянула и пребольно ударилась о кованую подставку не то для цветов, не то для свечей, не то для хрупкой вазы. – Нет... не надо тревожить ее покой...

– Остаточные воспоминания...

– Ничего не изменят, Мэйни... Элиза не оживет, а я... я ведь и так знаю... в контракте дело... в проклятом том контракте...

Гаррет всегда говорил громко, даже когда за столом не было никого, кроме мамы и самой Тельмы. И улыбался. Тельме не нравилась его улыбка, пустая. И мистер Найтли соглашался, называл Гаррета политическим дерьмом. Но дерьмо – это очень плохое слово, и Тельма делала вид, будто не слышит его. Ведь именно так и надлежит поступать очень воспитанным особам...

– ...я умолял ее не подписывать... зачем ей синематограф? Она и так была известна, но нет... агент настаивал... и гонорар обещали приличный... но неустойка... если бы она отказалась... двести тысяч...

Он говорил еще о чем-то, но Тельма не слушала. Она вдруг явственно осознала: случилось страшное. Здесь, в их с мамой доме. И Гаррет знает, что именно.

Мама...

Мама не разрешает Тельме гулять по ночам. Ночью дети должны спать. И она точно рассердится, если Тельма, нарушив все запреты, явится в мамину спальню. Но страшнее мамино гнева – как-нибудь Тельма переживет – было то, нехорошее, что чувствовалось в воздухе.

Запах.

Густой запах, словно все розовые кусты расцвели разом, чего быть не могло. И то, розы пахнут сладко, приторно, но не так. И лилии... мама терпеть не могла лилии, особенно белые, а ей после очередной премьеры слали целые корзины, и дом пах кладбищем.

Это мистер Найтли выразался.

Он всякий раз предлагал лилии выкинуть, но мама отказывалась. Нельзя так поступать с подарками.

Тельма сунула медведя под мышку, и подхватила подол ночной рубашки. Та была великовата, нянька вечно покупала вещи на вырост, утверждая, что ребенку и так сойдет. В конце концов, кто увидит Тельму в этой вот рубашке, кроме, конечно, самой няньки?

Никто.

А мама... главное, чтобы мама была... сказала, что ночные страхи – это глупость, что Тельма уже большая – ей скоро девять, а она все еще боится темноты.

И теней.

Шорохов.

Нет, она не боится. Медведь все... плюшевый... и мама поймет, поругается, быть может, но потом обнимет Тельму, поцелует и сама проводит наверх, в детскую. И в кровать уложит, споет колыбельную, ту, которая из «Волшебной страны». Тельма смотрела этот спектакль много-много раз, и была готова смотреть еще и еще.

Запах сделался нестерпим.

Тельма зажала пальцами нос.

Гадость какая!

Дверь была приоткрыта.

Странно. Мама терпеть не могла, когда в ее спальне дверь оставляли открытой, и даже горничную одну рассчитала, потому что та не желала запомнить это простое правило. А вот теперь... и пахло... уже совсем даже не цветами.

Духами.

Теми мерзкими, которые Гаррет на прошлой неделе преподнес. Крошечный флакон, альвийский хрусталь и духи, получается, тоже альвийские. Но вонючие – жуть. Тельма только чуть-чуть попробовала, и ее пришлось дважды купать, чтобы запах немного смылся.

А мама сказала, что духи эти – особые, их не так, как обычные, используют.

На кончике иглы.

И тогда запах получается волшебный, а если как Тельма, пальцами и за уши, то и вонять будут.

В маминой спальне духи разлили. То есть Тельме так показалось, что разлили, но нет,

вот тот флакончик из темного хрусталя, стоит на туалетном столике. Закрытый. А почему воняет?

– Мама?

Тельма отпустила медведя.

– Мама... мне страшно...

Красное на кровати.

Мама варенье пролила? Или вино? Она пила иногда вино, а Тельме пробовать не разрешали, потому что вино – это только для взрослых. Но Тельме не разрешали и есть в постели. Или взрослым можно? Взрослым и без того можно куда больше, чем детям, и Тельма мечтает поскорее вырасти. Когда она станет большой, то будет обходиться без няньки.

И без горничной, которая заплетает слишком тугие косички.

Тельма велит сделать ей прическу, как у мамы. И мамину помаду возьмет, или лучше собственную...

– Мам...

Мама лежала.

Она как-то некрасиво лежала, на боку. И простыней накрылась с головой. Зачем простыня? Одеяло есть, а она простыней... и шелковой... эти простыни мама никогда не любила, все повторяла, что ей бязевые милей, а шелк слишком холодный и скользкий. И вообще, это сущее расточительство, платить по двадцать пять талеров за комплект простыней.

А тут...

– Мамочка, – позвала Тельма, и собственный голос прозвучал тихо-тихо. – Мамочка, тебе плохо?

Если так, то надо позвать доктора. Мистер Саймон добрый и приедет сразу же, как тогда, когда у Тельмы случилась горячка. Он трогал лоб и порошки прописывал горькие, а еще повторял, что юным леди болеть не стоит, что болезни – для стариков.

Мамина рука выскользнула из-под простыни, белая, гладкая как змея... и неправильная.

Тельма не сразу понял, что было неправильно.

Кольцо.

То кольцо с желтым камнем, которое Гаррет позавчера подарил, исчезло.

– Мам?

Тельма коснулась руки, а та оказалась ледяной, как... как мороженая клубника, из-за которой потом болело горло.

– Мама!

Пальцы шелохнулись и вцепились в ладонь Тельмы. И тело на кровати – уже тело, Тельма это знала совершенно точно – выгнулось. Сползла простыня...

...она и мертвая была прекрасна.

Теперь Тельма совершенно точно знала, что ее мать была мертва. Из раскрытого рта раздался сдавленный сип, пахнуло сырой землей...

...и Тельма проснулась.

Она открыла глаза, все еще пребывая в состоянии полусна, полуяви, но уже почти осознав себя. И просто лежала, пялясь на серый потолок.

Снова.

Где-то далеко загромыхал состав, и пусть до железной дороги было с четверть мили, но

треклятая хибара, в которой Тельму угораздило снять квартиру, затряслась. Всякий раз у Тельмы возникало подозрение, что однажды дом просто развалится. И она искренне надеялась, что в этот, отнюдь не замечательный момент, она будет находиться где-нибудь подальше.

– Вставать пора, – сказала Тельма, мазнув рукой по глазам. Слава богам, слез не было. Закончились на первом году приютской жизни. Какой смысл плакать, когда из утешителей – один медведь. Он, верный, и ныне сидел на покосившейся полке. Жизнь изрядно его потрепала. В боях с приютскими детьми медведь лишился глаза и уха, а еще обзавелся кривым швом-шрамом через все плюшевое тело. Тельма сама шила, помнится, все пальцы исколола, но странное дело, они с медведем стали лишь ближе.

– Встаю, уже встаю... ты прав, нехорошо опаздывать в первый же рабочий день... – она сползла с кровати и поморщилась.

Пол был не просто холодным – ледяным.

Значит, трубы вновь прорвало. Или просто перекрыли их, не желая тратить газ. В конце концов, в этом клоповнике жаловаться не станут, а если станут, то управляющий пошлет всех жалобщиков куда подальше, и отнюдь не в жилищную управу.

Что ж, в Нью-Арке походи попробуй отыскать жилье, чтоб дешево, и в центре, и приличное.

Вода из крана потекла тонкою ржавою струйкой и, что характерно, тоже холодная. А ведь только вчера Тельма четвертак в котел бросила. Неужто, закончился? Или соседи, ублюдки этакие, не побоялись трубу врезать?

Ничего.

Тельма разберется с этим вечером, а пока...

Она чистила зубы и мрачно разглядывала себя же в замызганном зеркале. Хороша, нечего сказать. Некрасива. Прав был мистер Найтли в своей оскорбительной откровенности. В Тельме нет ничего от знаменитой Элизы Деррингер.

И к лучшему.

Он, тот, другой, видел ее лишь мельком и десять лет тому, глядишь и не вспомнит. Маму точно бы вспомнил, а Тельма... кто такая Тельма?

...что с девчонкой делать? – Этот голос донесся сквозь красный туман, провонявший альвийскими духами. И второй, ответивший ему с немалым раздражением:

– А что ты сделаешь? В приют сдай...

Тельма сплюнула горькую пасту и вытерла рот ладонью.

...в приют...

Ублюдки.

Ничего... десять лет прошло... целых десять лет. А с другой стороны – всего десять. И Тельма ничего не забыла.

Дорогой Мэйни!

Полагаю, ты и сейчас будешь слишком занят, чтобы ответить мне, как был занят в последние семь лет. Признаться, я долго думала, стоит ли вообще отвлекать тебя от твоих исключительной важности дел подобными пустяками, но совесть и столь нелюбимый тобой, но все же существующий, родственник долг не дают мне промолчать. Поэтому дай себе труд прочесть письмо до конца и отнесись к сказанному серьезно. Хотя, конечно, что могу я слабым своим женским умом понимать в вещах серьезных?

Пускай.

Мое дело сказать тебе, твое – решать, относиться ли к сказанному как к бабьей блажи, – и не морщись, Мэйни, я прекрасно знаю истинное твое отношение ко мне и всем женщинам – или же попытаться поверить, что не только ты в этом мире способен к мыслительному процессу.

Мэйнфорд поморщился: дражайшая сестрица и в лучшие времена отличалась излишней многословностью, и не стоило надеяться, что годы и должность хоть сколько бы ее изменили. Но письмо он не отправил в корзину. Иногда сестрица умудрялась сообщать и вправду полезные вещи.

А за сим бесконечно счастлива сообщить тебе, дорогой Мэйни, что твой запрос на предоставление третьему участку чтеца удовлетворен.

Мэйнфорд хмыкнул.

Вот уж и вправду новость... только новостью она перестала быть недели две тому.

Более того, тебе повезло получить лучшего выпускника, который, вернее, которая изъявила непонятное мне желание работать в твоём крысятнике.

Что?

Мэйнфорд прочел дважды.

Которая?

Они что, пришлют на участок бабу?

Томную девицу с голубыми глазами и головой, плотно забитой романтическими бреднями о храбрых дознавателях и коварных злодеях, в поимке которых дева желала принять самое непосредственное участие?

Полагаю, ты вновь сквернословил, что несколько примиряет меня с необходимостью писать тебе. Конечно же, ты был слишком занят, чтобы запросить личное дело чтеца...

Мэйнфорд выругался.

От души.

Следовало признать, что дорогая сестрица успела его изучить.

Занят...

Сначала те убийства на Таббор-стрит. Потом ограбление. Девять ограблений за неделю, и ублюдки умудрились уйти с добычей, что совсем не обрадовало начальство. Молоденькая актриска-светлячок, отравившая соперницу мышьяком...

Этот город давно обезумел, быть может, он изначально был безумен, построенный на крови, костях и кладбище чужих богов. И главное, что Мэйнфорд чувствовал, как медленно, неудержимо и сам соскальзывает в бездну.

...та давно уже ждала. Жаждалась, можно сказать.

К Низвергнутому городу.

Без чтеца отделение задыхалось. Конечно, ребята работали, как умели, но одно дело – опрос свидетелей, каждый из которых приукрашивает события в меру своей фантазии, и другое – более-менее приличный слепок.

А они шлют барышню.

Да ее после первого же выезда откачивать придется. А через неделю что? В Тихую пристань уйдет?

Твою ж...

Мэйнфорд, а теперь постарайся засунуть свой скептицизм в задницу и отнестись к девочке серьезно. Она отнюдь не глуповатая блондинка, из тех, с которыми ты предпочитаешь крутить романы. У Тельмы первый уровень с перспективой выхода на нулевой. Потенциал ее огромен...

...и что толку от этого потенциала, если использовать его не выйдет?

...и будь ее желание, Тельма получила бы место в Доме-на-Холмах, не говоря уже о том, что на распределение прибыли представители всех Корпораций.

...вот и ехала бы к цвергам. Или к альвам. Мэйнфорд успел усвоить, что к альвам юные девы относятся с особым трепетом, который изрядно экономит оным альвам, что время, что средства.

Как лучшая в выпуске, Тельма получила право выбора...

...только выбрала она как-то криво.

...и представь удивление комиссии, когда из всех заявок, она приняла именно твою. Мэйни, будь осторожен! Тельма – умная девочка, хотя ты напрочь отказываешься верить в существование женского ума. Но она никогда и ничего не делает просто так. И если уж она предпочла твой клоповник двадцатитысячному контракту, на то имеется веская причина. Другое дело, что я и близко не могу предположить, что именно подвигло Тельму на подобный шаг, и это меня, признаться, несколько тревожит.

...а уж как это тревожит Мэйнфорда. По прихоти взбалмошной девицы и он, и все третье отделение остались без чтеца.

Лучшая?

Да может, и лучшая на тренировочных полигонах. И артефакты старинные считать

умеет великолепно, но вряд ли девица когда-либо в куцей своей жизни с трупами сталкивалась.

С кровью.

С бессмысленной человеческой жестокостью, в которую собралась нырнуть...

...я пыталась поговорить с ней, но Тельма... она мила, вежлива, не более того. И отвечала ровным счетом то, что я хотела бы услышать. То есть ее ответы были слишком правильными, чтобы относиться к ним всерьез.

Я чувствую в ней не то, что второе дно, скорее омут, который Тельма скрывает ото всех. И скрывает так хорошо, что штатный наш душевед не способен даже почувствовать наличие этого омута.

Мэйнфорд пробежался по строкам.

Понятно.

Дорогая сестрица в очередной раз видит то, чего на деле не существует. Омуты, призраки... нет, призраки, естественно, встречались Мэйнфорду, но в большинстве своем были созданиями безобидными. Остаточные эманации личности, не более.

Ладно, в Бездну первородную призраков вместе со всеми страхами сестрицы. Хватит и без них проблем... или не проблем, но...

Мэйнфорд потер переносицу.

Ничего.

Он посмотрит на эту особу особо одаренную. А потом придумает, как от нее избавиться, чтобы отделение не пострадало.

Самое забавное, что, невзирая на уверения сестры, Тельма Дварге была блондинкой.

Голубоглазой.

На удивление некрасивой.

Блеклая.

Вымытая дождем добела. Волосы обрезаны неровно, вымокли, слиплись. Капли воды блестят на коже, которая тоже слишком бледна. Такая у трупов бывает, а никак не у живых людей.

Квадратное безбровое лицо с тяжелым подбородком. Узкие губы. А нос массивный с горбинкой. Глаза же, прозрачные, что лед, на этом лице теряются.

Форменный костюм сидит на ней... а как на корове седло и сидит.

Слишком высокая она.

Тощая.

И пиджак висит, что на вешалке. А юбка, кажется, вот-вот сползет.

– Вы нам не подходите, – Мэйнфорд нарочно разглядывал новенькую пристально, пожалуй, чересчур уж пристально. Не отказал себе в удовольствии задержаться взглядом в вырезе пиджака, в котором, правда, видна была лишь серая рубашка. И на ноги пялился старательно, хотя ноги, мосластые, слишком мускулистые, того не стоили.

– То есть, – блондинка заговорила низким грудным голосом, – вы отказываетесь от меня?

Она не краснела.

Не белела.

Не заикалась. Она спрашивала спокойно. И если повезет, если в ее голове, как то утверждала сестрица, и вправду имеется хоть капля мозгов – должна же Матушка-Природа хоть как-то компенсировать уродство, – то у Мэйнфорда получится объяснить дамочке, что лучше ей уйти.

– Да.

– Официально? – уточнила она.

– В каком смысле?

– В прямом. Согласно пункту третьему Уложения о контроле за Одаренными, относящимися к Первой категории общественной полезности, вы, в случае, если ваша заявка удовлетворена некорректно, обязаны, составляя отказ от распределенного по заявке одаренного, указать, что именно вас не устраивает.

Она произнесла эту чушь, глядя Мэйнфорду в глаза.

Проклятье!

Да не одна баба до этого дня... да что там, баба... собственный начальник Мэйнфорда и тот избегал прямого взгляда, а эта... еще и насмехается.

Нет, она предельно вежлива, и на губах ни тени улыбки, в глазах – тем паче, глаза эти вовсе будто из Предвечного льда вытесаны, но ведь Мэйнфорд всем нутром своим чувствует, что насмехается.

– И я, как специалист первого круга распределения, – продолжила девица, – имею право знать, в чем, собственно говоря, проблема. Вас не устраивает мой уровень?

Издевается?

Первый уровень с потенциалом на нулевой...

– Или же моя квалификация? – определенно издевается, понимая, что поставить под сомнение ее квалификацию – значит связаться с треклятой сенаторской системой сертифицирования, которая от Мэйнфорда мокрого места не оставит.

Даже если он прав.

Даже если он тысячу раз прав.

– В любом случае, я буду настаивать на комиссии...

Вот комиссия точно Мэйнфорду нужна не была.

Спасибо, сестрица, удружила. Не могла пораньше предупредить, пока это недоразумение не прибыло.

– Вам здесь не место, – Мэйнфорд испытывал преогромное желание хорошенько потряхнуть упрямую дурочку.

– Почему?

Она действительно не понимает?

Или... понимает? И понимает прекрасно. Но спрашивает исключительно потому, что знает – ее вопросы злят Мэйнфорда... и если так, то...

Демоны Бездны...

Он осторожно подвинул грудку папок к краю стола. Переложил перо на подставку. Накрыл чернильное пятно пальцем. Простые действия успокаивали. А спокойствие требовалось, чтобы продолжить беседу. В конце концов, не хватало еще, чтобы какая-то особа, пусть и излишне наглая для своих юных лет, стала причиной внеочередного выброса.

– Вы... – Мэйнфорд вытащил костяной шар и сжал его в кулаке. – Вы вообще представляете, чем мы здесь занимаемся?

– Да.

Сухо. Коротко.

Обтекаемо.

– Вы вообще трупы живьем видели?

Прозвучало... нелепо.

Нет, попадались и такие, которые живьем, но эти проходили уже по четвертому ведомству.

– Видела.

И вновь молчит.

Смотрит.

Что с ней делать? Или... просто подождать? Пара-тройка выездов, и эта некрасавица сама запросится к цвергам, а там...

Глядишь, как-нибудь и наладится...

Он не изменился.

Нет, Тельма прекрасно знала, что десять лет для малефика его уровня – не срок. Но знать – это одно, а видеть – другое. И она робела, страхась, что вот сейчас этот мужчина встанет.

Обойдет огромный свой стол.

И скажет:

– Ну, здравствуй, Тельма. Ты выросла...

Выросла.

Когда в Каверли перевели, тогда и выросла. До этого три года по приютам, один грязней другого, словно ее нарочно пытались упрятать в самую глухую дыру в надежде, что она, как и сотни иных сирот, сохнет. Не важно, от голода ли, от лихорадки, еще от какой напасти.

А она выжила.

И стоит вот теперь, смотрит в темные глаза. Что ему написали? А директриса написала, тут и думать нечего, предупредила дорогого братца... все они одной крови, одной грязи. И знать-то она ничего не знала, хотя изо всех сил притворялась другом, лезла в душу. Только Тельма к этому времени достаточно повзрослела, чтобы понять: друзей не существует.

А верить другим... что может быть глупее?

Нет, знать он ничего не может, подозрения же... пусть подозревает. Так интересней. Жаль, что прочесть его нельзя.

Запрещено.

Да и блок, наверняка, выставил.

Молчит.

Пялится.

Думает, Тельму взглядом смутить можно? Нет, взгляд у него... характерный. И колени подгибаются, а спина взмокла... или не спина, но пиджак, шитый из дрянной ткани. И выглядит Тельма, думать нечего, жалко.

Пускай.

– Хорошо. – Мужчина шелохнулся.

Человек-гора.

И в той ее прошлой памяти он горой сохранился. Голем из красного гранита, обманчиво неповоротливый, грозный.

– Тогда собирайтесь. Выезжаем...

Он ждал, что Тельма спросит, куда, но она с трудом сумела сдержать вздох облегчения.

Не узнал.

Принял.

И значит, у нее появился шанс. А ради этого шанса Тельма выживала. И трупы... трупами ее не испугать.

– Плащ захватите, сегодня дождит...

Дождь, зарядивший с утра, и не думал прекращаться. Он окреп, и серые нити воды прочно связали небо с землею. Они в целом были похожи, небо в рытвинах, земля в яминах. Из водосточных труб стекала желтая вода, и ямины наполнялись до краев. Вымывало мелкий сор, и по грязным мостовым растекались грязные же реки.

Служебный автомобиль медленно полз, жался к краю мостовой, точно опасаясь провалиться, и Тельма слушала натужный рокот мотора. Уж лучше его, чем сопение Мэйнфорда, который был слишком уж близок.

От него и пахло камнем.

Мокрым гранитом.

Старым склепом.

А маму похоронили на Сайлент-холле, хватило совести. И памятник поставили. Тельма читала газеты, где писали о трагической случайности и невозполнимой потере. И Гаррет прочел вдохновенную речь, которая принесла ему изрядно голосов. Он впервые появился на людях со своей невестой, на пальце которой сверкал такой знакомый желтый алмаз.

Лжец.

Кругом лжецы.

Автомобиль свернул на боковую улочку.

Этот район Тельма не знала, она вообще была знакома с Нью-Арком, тем, который за пределами Острова, большей частью по путеводителям и картам. Но сомнительно, чтобы о таком месте путеводители упоминали.

Темно.

И воняет.

Сточными водами. Гнилью. Погостом. Не приличным, на котором хоронят граждан из Первого округа. Нет, это был погост, возникший сам собою, на месте старых скотобоен ли, за приютским ли забором, освященный наспех, зато с хорошей оградой, потому как и самые жадные понимали, что лучше потратиться на малефика, чем на собственные похороны.

На таких погостах земля черна.

Жирна.

И мертва. Она, насытившаяся плотью, не спешит поглотить новую, но напротив, переваривает ее медленно, норовя выпихнуть обглоданные кости на поверхность.

...на Терревиле старшие гоняли младших за этими вот костями, которые потом продавали в местные аптекарские лавки. Кости уходили за гроши, и аптекари прекрасно знали, откуда взялся ценный материал, но кому до этого было дело?

– Нам туда. – Мэйнфорд поморщился.

Тоже чует?

Тельма избегала кладбищ. Слишком много на них лжи для того, кто проклят видеть правду. Она выскользнула из теплого салона.

Дождь усилился.

Плохо.

И отнюдь не потому, что холодно и мокро, и Тельма после нынешней прогулки обзаведется насморком. Гораздо хуже, что вода разрушает тонкие связи. Мэйнфорд не может не знать этого... и получается, нарочно привез ее сюда? Собирается доказать профессиональную непригодность?

– Поспешите. – Он не удосужился подать руку, напротив, с явным удовольствием смотрел, как Тельма пробирается по лужам к узенькой полоске бордюра. – У нас много дел на сегодня...

Мелькнула подлая мыслишка, что стоило согласиться на предложение цвергов. А что, двадцать тысяч в год, премиальные, сдельные, оплачиваемый отпуск, полная страховка и никакого дождя.

А что до кошмара... кошмары сегодня неплохо лечат.

– Нам сюда. – Мэйнфорд провел ладонью над неприметной дверцей, и печать полицейского управления растворилась. Странно, что ее вовсе не смыло. Или здесь ставят особые печати, с учетом специфики климата?

Надо будет уточнить.

За дверцей запахло розами. И Тельма остановилась, давая себе привыкнуть и к запаху, и к сумраку. На ладони Мэйнфорда вспыхнул огонек.

– Ну?

– Не здесь. – Запах роз был ощутим, но не приторен. То самое, нужное ему место, находилось рядом. – Коридором пользовались. После.

Она смахнула воду с волос.

И решительно шагнула в темноту. Ей больше не был нужен свет, напротив, он только мешал. И Тельма подняла руку. К счастью, говорить не пришлось, Мэйнфорд послушно убрал искру.

Хорошо.

Как бы он к ней ни относился, но отношение отношением, а работа работой.

Тельма шла на запах, который больше не пугал, напротив, он манил, раскрывался новыми нотами.

...терпкостью солодового виски...

...и холодным металлом.

...металлом горячим, впитавшим тепло человеческих рук.

Коридор закончился.

И Тельма оказалась в небольшом полуподвальном помещении. Некогда здесь хранили вино, а может, огурцы или капусту, картофель, кукурузу или еще что-то, столь же безобидное. Но это было до Восемнадцатого Декрета.

А после...

Она сделала глубокий вдох.

– Здесь. Руку.

Странно, его рука оказалась горячей, обжигающей просто. А камню положено быть холодным. Тельма отрезала эту мысль.

Ничто не должно мешать.

Никто.

Она сосредоточилась на запахе. Нет, еще не крови... раньше... металл... тоже не то... еще раньше... виски и духи. Отменный солодовый виски, ныне запрещенный к открытой продаже, и сладкие духи. Не альвийские, отнюдь. Откуда здесь подобная роскошь? Местные девочки предпочитали аптекарскую лавку, где за шесть медяков можно купить пинту ароматной жидкости.

...дым.

Сигареты курили здесь же, и дым поднимался к потолку, сизым покрывалом растягиваясь поверх выщербленного кирпича. В дыму тонула пара дохлых искр, которые, если и подпитывали, то слишком давно, чтобы искры эти протянули до конца недели.

Горели свечи.

Дребезжало старенькое пианино, скрытое в самом темном углу. И на самодельной сцене пела девушка в розовом открытом платье. Слабенького дара ее хватало, чтобы голос звучал, но и только...

- ...дама пик...
- ...да иди ты в...
- Сам иди!

Карты.

Покер? Или что-то попроще? Если подойти ближе... но Мэйнфорд удержал. Пишет ли? Хотелось оглянуться, посмотреть в лицо, глядишь, и удалось бы прочесть что-нибудь без погружения, но Тельма удержалась. И удержала хрупкую иллюзию остаточной памяти.

Карты не важны.

Как и игроки. И очередная блондиночка с сахарными кудрями, которая повисла на руке худошавого типа. Его лицо показалось Тельме смутно знакомым.

Узкое.

Смуглое. С характерным альвийским разрезом глаз. Из-под верхней губы выглядывают клычки. Белые волосы перехвачены лентой.

Полукровка?

Скорее квартерон. От полукровок след остается менее четкий.

– Котик, мне скучно... – Девушка поет и дует пухлые губки.

Светлячок, но слабенький, о чем она прекрасно знает. И думает, что ей повезло, и этого, клыкастого, полагает величайшей жизненной удачей. Он ведь любит ее.

Ей так кажется.

Ведь колечко подарил. И ожерелье, которое девушка нацепила, чтобы все видели. Она то и дело касается этого бриллиантового ошейника, точно проверяя, на месте ли он.

– погоди, – квартерон нервно дергает плечом.

Ему наскучила девушка.

И ее капризы. Он здесь по делу. Если подойти ближе, но Мэйнфорд пишет, а смена диспозиции исказит запись. Вряд ли Тельму за такое похвалят. Уж лучше потом дубль сделать.

– Иди, – квартерон достает из кармана бумажник, а из бумажника – пачку талеров, которые сует девушке в вырез. – Сыграй... развлекись...

Сыграть она не успела.

Только развернулась, качнув бедрами, и получила шлепок по попке. Захихикала. Смех ее, неожиданно громкий, заглушил тихий щелчок двери...

Запахло металлом.

Странно, но в такие минуты Тельма особенно остро ощущала именно запахи, хотя ее учили сосредотачиваться на визуальных элементах.

Будут Мэйнфорду визуальные элементы.

Но сама она не способна была отрешиться от запаха. Тельма от души ненавидела его, изысканный и в то же время удушающий, проникающий сквозь одежду, сквозь кожу, пропитывающий плоть ее...

...будет выветриваться потом сутки.

Или больше.

Ничего. Потепится.

...запнулась певица на сцене. Рот ее забавно округлился, но закричать ей не позволили.

Первый из вошедших передернул затвор...

...а выстрелов не слышно.

Или это просто Тельма не слышит?

Видит пули.

Свинцовые пчелы, роем устремившиеся к сцене, чтобы войти в кукольное тело девочки-светлячка. Ее отбросило, перекрутило, но, изломанная, она продолжала жить.

...замолчало пианино.

Игроки бросили карты.

...и шестерка пик из чьего-то рукава спланировала в лужу крови. Они падали один за другим, не люди – манекены из «Блэйтсборн»... да, если думать именно так, то становится легче.

Еще бы запах убрать.

Блондинка в алмазах успела закричать. А спутник ее – вытащить пистолет...

...брызнули осколками стекла бокалы. Алмазы заливало кровью, яркой, что лак на ногтях блондинки. И кровь же пузырилась на ее губах.

А кварталон не желал умирать. Он цеплялся и за жизнь, и за бесполезный револьвер, и тело его мелко вздрагивало, принимая пулю за пулей. Старшая кровь была сильна. И все-таки не настолько, чтобы вырваться.

– Вот ублюдок, – то ли разозлился, то ли восхитился автоматчик, и автомат убрал. Из-под короткого плаща появился клинок. – Ну что, твареныш? Тебя ведь предупреждали...

Он подошел.

Медленно.

И Тельма вырисовала каждый его шаг.

Стекло, которое хрустело под ногами, впиваясь в толстую подошву ботинок. По ходу она отметила, что ботинки эти – поношенные, потертые, но еще крепкие.

Штанины коротковаты.

Мокры.

Значит, шел дождь. Капли воды стекали с короткого мятого плаща. А вот лица было не разглядеть. Тельма пытается зацепить хоть что-то...

...рассеиватель прихватили. Подготовились...

...и те двое, которые спокойно ждали в углу...

– Предупреждали, а ты не послушал. Думаешь, самый умный? – Автоматчик присел рядом с полумертвым кварталоном и, вцепившись в волосы, потянул, заставляя того запрокинуть голову. – Все вы тут думаете, что самые умные...

Он щелкнул кварталона по носу.

А потом отпустил.

Привстал.

И размахнувшись, опустил клинок на шею.

– Твою ж... крепкий... – Клинок вошел до половины, и пришлось бить снова, что автоматчика не обрадовало. Больше он ничего не говорил, но высвободил клинок, размахнулся и ударил снова.

И снова.

И бил, пока голова не покатилась к столу.

– Вот так...

Клинок автоматчик вытер о розовое платье мертвой блондинки. А потом подхватил голову и махнул рукой:

– Уходим. Догги скоро явятся...

Уходили они и вправду узким коридором.

И уже там, снаружи, Тельма с немалым облегчением отпустила размытые тени. Они просто шагнули в дождь, чтобы исчезнуть.

А дождь.

Дождь – это хорошо... и даже замечательно... она вытянула руки, радуясь возвращению. И холодная вода больше не доставляла неудобств.

Затекает в рукава?

И плащ остался в баре? Пускай... главное, смыть этот запах... в душ бы, но что-то подсказывало, что в ближайшие часы душ Тельме не грозит.

Мэйнфорд стоял.

Курил.

Курил он на редкость вонючие сигары, но сейчас Тельма радовалась и этой вони, и даже подумала, что если попросить одну, он не откажет. Поделится. Нет, она сама не курит, но иногда вот. Лучше сигары, чем духи.

– Вы как? – первым заговорил Мэйнфорд. Он стоял, прислонившись к стене, которая выглядела не настолько чистой, чтобы к ней и вправду стоило прислоняться.

– Жить буду.

Собственный голос был сиплым.

Помолчал.

Покосился. Вздохнул:

– Блевать хочешь?

– Спасибо. Воздержусь...

– Смотри... если вдруг, то отвернуться могу...

Какая внезапная щепетильность. Почти умиляет. И Тельма, тряхнув головой, оборвала эту ненужную нить ненужной же заботы.

– Записали? – спросила она.

– Записал. – Он выпустил кольцо дыма. – С лицами...

– Рассеиватели.

– Ясно.

А пепел, отломив, бросил в лужу.

– У тебя неплохо вышло...

Мило. Почти комплимент. И Тельма кивнула: неплохо, так неплохо... ему видней. Она молчала. И он молчал. Курил. И стоило бы вернуться, но сама мысль, что снова придется спускаться в подвал, вызывала тошноту. Но и плащ бросать... другого у Тельмы нет. И при нынешней ее зарплате не скоро появится. Стоит поискать подработку. Те же цверги намекали... один-два заказа...

Хотя бы для того, чтобы одежду приличную прикупить.

Но об одежде не думалось, вообще ни о чем, кроме... певички, почти разрезанной пополам... и той девочке с алмазами... их ведь не тронули, хотя ожерелье стоило тысяч двадцать... по нынешним временам и того больше.

И бумажник у квартерона был солидный.

Касса опять же.

– Кто это был? – Молчать и дальше стало невыносимо.

...если попросить Мэйнфорда, он спустится за плащом. Но лучше уж самой, рискуя вляпаться в остаточное воспоминание. Воспоминание Тельма как-нибудь да переживет.

– Кто именно?

– Все.

– Веселый Билли...

– Квартерон?

– Заметили?

– Старшая кровь иначе воспринимается... это как... как в кровать крошек насыпать. –

Тельма сама не знала, зачем ему объясняет. Никому и никогда не было интересно, что чувствует чтец.

– Понятно... да, квартерон... бабка из альвов... отрезанная ветвь... когда-то ушла из дому по большой любви, но... печальная история. – Он посмотрел на сигару. – Не мешает?

– Что? А... нет...

– Старик наш не любил, когда курили. Мятные леденцы будешь?

– Буду.

Сладкого хотелось. А леденцы... Тельма еще вчера собиралась прикупить коробочку, но забыла как-то.

– Вельма очень расстроилась, когда внука убили... и от ее расстройства нам одна головная боль...

Вельма... бабка... отрезанная ветвь... вряд ли она стара, альвы живут куда дольше людей, даже малефиков.

– Мы уговорили ее подождать... – Мэйнфорд поморщился.

И недокуренную сигару выбросил.

Зачем он вообще что-то объясняет?

Рассказывает?

Было бы кому... девице, которая ненадолго прибилась к участку, но неделька-другая и она передумает... или нет?

Стоит, обняла себя. Плечи узкие. Шея длинная. И белые волосы прилипли к ней. Вымокла вся. Пиджачок дрянной, юбка перекрутилась, сбилась набок. Мэйнфорд всегда задавался вопросом, из какого же дерьма шьют форменные костюмы. Этакую поганую ткань найти непросто, а поди ж ты...

Плащ свой оставила в подвале.

Спускаться не хочет.

Старик и не стал бы, послал бы кого, а эта молчит, гордая.

Но крепкая.

Ребят, которые по вызову прибыли, выворачивало, хотя они к местной кровянице привычные. Эта же видела, как оно было, а держится. Побледнела слегка, и то не скажешь, то ли от увиденного, то ли от холода.

– Держи. – Мэйнфорд набросил на плечи чтицы свой плащ. – Не хватало, чтоб засопливила. У нас работы много.

Прозвучало так, будто он оправдывается.

И заботится.

Чушь собачья. Мэйнфорд, конечно, заботится, но исключительно о своих людях и из побуждений эгоистичных. Да и теперь... пока девчонка не сбежала, надо пользоваться.

Чтица она и вправду великолепная.

Первый уровень.

Он и не представлял себе, что такое и вправду первый уровень. Старик обладал третьим. И слепки его получались мутными, порой расплывались, рвались, выцветали до черно-белых и желто-бурых цветов. Ни звука, ни запаха.

Жаль, что запахи записать невозможно...

Или хорошо?

Вельма наверняка узнает и про чтицу, и про запись... и получит. Демонова баба всегда получала то, чего хотела.

– Им не нужны были деньги. – Тельма от плаща отказываться не стала, закуталась поплотней, так, что наружу торчали нос и белобрысая макушка.

– Не нужны.

– Тогда зачем это все?

Хороший вопрос. Мэйнфорд и сам им задавался, единственный ответ, который в голову приходил, ему совершенно не нравился.

– Они хотят войны.

– Кто?

– А вот это нам и надо выяснить. Вельма держит эту часть города. Торговля спиртным, игры, девочки. У нее широкий круг интересов.

И неплохое наследство, доставшееся от Громилы Ги, которое она не только сохранила, но и приумножила.

– Кто-то решил ее подвинуть.

– Убив внука?

– Не только. Если бы дело было только в нем, нашли бы другое место. Билли охрану не жаловал. И вообще на редкость безголовым типом был. Нет, дело не в том, что убили, а в том, как это сделали... ее клуб... ее люди... ее кровь... они пришли, чтобы положить всех. А голова – это и вовсе оскорбление.

– Иль-агра...

И о Предвечной искре, дарующей жизнь, она знает. С другой стороны, ничего удивительного, чтецов учат не только пользоваться даром.

– Да. Голову нашли... ее спалили в мусорном баке.

– И теперь он не сможет возродиться.

Мэйнфорд кивнул.

Старая ведьма явилась в управление. И да, на ведьму она походила меньше всего. Милая дама неопределенно средних лет...

Костюм из жатого шелка.

Нить черного жемчуга единственным знаком печали.

Сумочка на золоченой цепочке. Аккуратные пальчики с аккуратными ноготками. И сложно представить, что этими пальчиками Вельма когда-то выдавила глаза Веселому Джеку. Если, конечно, верить слухам... она всегда оставляла за спиной только слухи. Ни доказательств, ни уж тем более свидетелей.

– Моя клиентка, – она и разговаривала сама редко, предоставляя высокую сию честь семейному адвокату, – крайне опечалена ужасным событием, которое недавно имело место быть.

Опечаленной она вовсе не выглядела, скорее злой. И Мэйнфорд ощущал ее злость, как и давящую, но вместе с тем притягательную, силу Старшей крови.

– И она желает знать, какие действия предприняты полицией, чтобы покарать злоумышленников.

– Следствие ведется.

– Моя клиентка...

– Узнает обо всем в свое время.

Она позволила себе улыбнуться, показывая тем самым, что уже знает, и быть может, куда больше полиции.

– Моя клиентка...

Вельма подняла руку.

– Выйди. Нам с мальчиком надо поговорить.

Тихий ее голос, не голос – шелест ветра в гривах ив – заставил адвоката вжать голову в плечи. Ослушаться он не посмел. И дверь прикрыл плотно.

– Он вас боится.

– Люди в большинстве своем меня боятся, – согласилась Вельма. – Но не вы... с другой стороны, вас нельзя назвать в полной мере человеком.

Она склонила голову набок.

– Вы ведь не хотите войны, Мэйнфорд из рода Альваро? Во всяком случае, я очень надеюсь, что вы не хотите войны... конечно, с точки зрения разума, вам было бы выгодней не вмешиваться.

Острый язычок скользнул по губе.

А ей кровь нравилась. По слухам... конечно, не всем слухам можно верить, и сложно было представить, чтобы эта холеная дама, идеальная во всем, купалась в крови врагов.

Негигиенично это.

– Предлагаете постоять в стороне? Хорошая мысль... позволить таким, как вы, перебить друг друга...

– Таких, как я, больше нет, Мэйнфорд-мааре, не заблуждайтесь. Но... я не буду возражать, если ваша полиция и вправду... немного отдохнет.

Коготок коснулся коготка.

Беззвучно.

И все же Мэйнфорд вздрогнул.

– Если случится война...

– Погибнут невинные люди...

– Невинные люди всегда гибнут, – глядя в глаза, ответила Вельма. – Впрочем, я слишком давно живу, чтобы поверить, что невинные люди и вправду существуют. Что до остального, то небольшая чистка пойдет городу на пользу. Вам ли не знать, что он тоже любит кровь...

Она коснулась коготком губы.

– Город будет вам благодарен... очень благодарен...

– Обойдусь я как-нибудь и без этой благодарности.

Злила не откровенность, а сама бессмысленность разговора. Можно подумать, что Вельма и вправду испрашивает разрешения, чтобы развязать войну. Разрешения ей не нужны. И мнение Мэйнфорда, что по поводу войны, что по поводу самой Вельмы, глубоко безразлично. Тогда зачем она здесь?

– Жаль, – она встала. – И зря... поверьте, я умею помнить... оказанные услуги...

– И какую именно вы хотите получить?

Полусомкнутые веки, пелена ресниц.

Розовый румянец.

Она прекрасна, как может быть прекрасна альва, но... эта красота скорее отталкивает.

– Найдите тех, кто убил моего внука...

– Ищу.

– Ищите лучше. Из уважения к *нашим* предкам я дам вам две недели. Две недели Мэйнфорд-мааре – это много... а дальше город получит свою войну.

– Вы угрожаете?

– Помилуйте, кому может угрожать слабая женщина? Я... просто слышу, что происходит. И вы услышите, если дадите себе труд... если не побоитесь вспомнить о том, кто вы есть.

Она коснулась дверной ручки.

– Погодите. – Мэйнфорд поднялся. – Зачем вы приходили?

Не ради этой отсрочки, на которую Мэйнфорд не особо и надеялся, и не ради угроз. Тогда зачем? Вельма одарила его нежной улыбкой:

– Взглянуть на вас... давно было любопытно, каков из себя новый Страж...

– И как?

– Будем считать, что мое любопытство удовлетворено сполна.

Мэйнфорд зябко повел плечами.

Две недели.

И первая уже прошла, а у них пустота. Даже теперь пустота, потому что лиц не разглядеть. Чтица смотрит в дождь. Попросить дубль? И просить нечего, приказать стоит,

она подчинится. Только какой в дубле смысл? Запись уже есть. И качество отменное. Ребята поработают, авось и скажут чего...

...по одежде.

...обуви.

...оружию... автоматы стандартны, таких сотни в городе, который и вправду любит кровь, и эту часть его древней природы не изменить. А вот клинок... клинок – дело другое...

И Мэйнфорд нащупал кристалл.

А может... если показать Вельме, то... альвы способны видеть иначе, как знать... правда, увиденным она делиться не станет, скорее уж решит проблему так, как сочтет нужным: кроваво и громко, чтобы никто больше не посмел посягнуть на ее владения.

...и поговаривали, что во владениях этих Вельме давно уже тесно.

Война – хороший повод для передела.

– А вы не думали, – Тельма облизала губы.

Сухие. Обветренные. И на бледных щеках кожа шелушится. Из какой дыры она выползла? Надо будет заглянуть-таки в личное дело.

– О чем не думал?

– О том, что если они перестреляют друг друга, город станет чище... – она глядела не в глаза, но на потоки черной воды, на мусор, который качался на волнах.

– Это вряд ли.

Откровенный вопрос заслуживает откровенного ответа.

– Во-первых, погибнут не только те, кто завязан с бандами, сама же видела. Девушки. Пианист, бармен...

– От него пахло травкой.

Мэйнфорд хмыкнул. Надо же, заметила. Но запах... старик утверждал, что запахи относятся к той части остаточной памяти, зацепить которую почти невозможно. А она вот... первый уровень с потенциальным выходом на нулевой.

...Вельма заглянет к девочке...

...тронет?

...или все же и изгнанники блюдут Равновесие?

...впрочем, угрожать не обязательно, достаточно отыскать нужную приманку. Что ей надо, беловолосой чтице? Денег?

Нет, тогда она пошла бы работать к цвергам.

Славы?

Тоже нет. Сенат и альвы приняли бы ее с распростертыми объятиями.

Тогда чего?

Ах как не вовремя. Ему о войне грядущей думать бы, о том, кто рискнул выступить против старой ведьмы, а не разгадывать загадки девчачьих помыслов.

– Травкой здесь от многих пахнет. Есть еще во-вторых. Сейчас в Нижнем городе тихо. Относительно тихо. Последний передел случился лет десять тому. Если будет интересно, загляни в архив. Даже если не будет интересно, загляни. Туда вообще заглядывать полезно...

– Всенепременно, – это Тельма сказала абсолютно серьезно.

– За два месяца – около трех сотен трупов. Это тех, которые мы нашли и идентифицировали, а сколько пропало без вести, только Бездна знает. И да, плакать там особо не о ком, через одного – ублюдки, через второго – твари... только остались те же ублюдки и твари, но голодные, злые. Они выгрызали свой кусок, и когда выгрызли, пожелали

получить награду. Немедленно. Здесь и сейчас. И сама понимаешь, кому пришлось платить.

...Мэйнфорд не любил вспоминать то время.

Темное.

И дождь шел почти всегда, словно город сам помогал прятать следы тем, кто потчевал его новой кровью. Нью-Арк умел быть благодарным.

И шутить.

...безглазый лавочник, насаженный на прутья ограды. И ведь нарочно выбрали место перед самым участком, показывая, сколь бессильна полиция...

...проститутка, забитая до смерти...

...упрямый торговец, решивший, что заработанные тысячи защитят его. Его нашли на седьмой день, безглазого, безъязыкого, с отрубленными пальцами, но живого. Правда, эта жизнь была хуже смерти. Впрочем, Мэйнфорд слышал, что мучился бедолага недолго.

...девушки, пропадавшие прямо с улиц, без следа, без надежды на возвращение. И холодное любопытство города, наблюдавшего за возней тех, кто полагал себя его хозяевами.

Тогда Мэйнфорд вновь услышал его.

И решил, что дед ошибся, и он все-таки сходит с ума.

...он и до сих пор сходил. Правда, от этого сумасшествия существовало спасение, лежало в кармане плаща, в жестянке, еще сохранившей аромат лакричных леденцов. И на вкус травяные пилюли, сотворенные Кохэном, походили на те же леденцы.

Лакрицу Мэйнфорд ненавидел.

Но шепот Нью-Арка, все его голоса, доносившиеся из Бездны, ненавидел куда сильнее.

И порой пилюли уже не спасали.

Шепот проникал в сны, искажая их, превращая в красно-черный рисованный кошмар, выбраться из которого Мэйнфорд не был способен...

...и он увеличил дозу вдвое.

...а теперь трусливо думал о том, чтобы отказаться от пилюль вовсе. Если кто и знает, что творится на его улицах, то Нью-Арк. И тогда имеет смысл прислушаться к его голосу, вдруг да права старая ведьма... если именно за этим она и приходила?

Намекнуть.

Или поиграть, альвы любят играть с людьми. И вряд ли Вельма сильно отличается от сородичей. Нет уж, город способен свести с ума, а безумным Мэйнфорд точно работать не сможет.

И отогнав мысль о заветной жестянке, он сказал:

– Куда тебя подвезти?

– А разве...

– На сегодня достаточно. Отдыхай. И завтра пришло за тобой машину. Не хватало, чтоб чтица заболела...

– У вас работы много.

Именно.

Работы. Много.

Колонка не работала.

Проклятие! Тысяча и одно проклятие! Тельма всю дорогу мечтала о душе. Она даже морально рассталась с четвертаком. И треклятая колонка четвертак заглотнула.

Но горячей воды не дала.

И холодной не дала.

Трубы гудели. Кран кашлял.

– Твою ж... – Тельма спустилась.

Ее распирали злость, не своя, но подхваченная в подвале вместе с чужим отчаянием, с отголосками боли, с тягостным ощущением собственной беспомощности.

Все уже было.

Случилось.

И эту память не изменить.

Только и остается, что бессильно пинать трубу, матеря управляющего...

– Это бесполезно, – раздалось сзади. И Тельма обернулась, собираясь высказать все, что накопилось, а накопилось многое, только...

...если кто и умел гасить гнев, то светлячки.

– Привет, – сказала девушка в стеганом халатике, – меня Сандрой звать. А ты новенькая, да? Вчера въехала, да? Я слышала...

Она сияла так ярко, что глазам от этого становилось больно, и Тельма зажмурилась.

– Я хотела пойти познакомиться, но подумала, что поздно уже. Пойдем чай пить?

– Воды нет.

Гнев таял.

И обида. И все остальное.

– Я набрала... и ты набирай. Купи себе ведро, здесь днем часто воды не бывает. Вообще-то она есть, но Твинкль перекрывает трубы, чтобы зря не тратили. Представляешь? Я уже к нему ходила ругаться, да бесполезно...

Сандра взяла Тельму за руку.

– Осторожно, я...

– Чтица, знаю... у меня тетка из ваших, так что я не боюсь... мне скрывать нечего...

Она была светом.

Чистым солнечным светом, которого так не хватало в Нью-Арке, да и не только в нем. Тельма уже и забыла, каким бывает солнце. А теперь вот вспоминала.

Теплым.

Как тот мамин свитер из тончайшей шерсти... кружевная шаль... и кружка из альвийского стекла, тонкого, такого, что как в руки взять, но и прочного. Стекло нагревалось, но не так, чтобы обжечься, и Тельме нравилось держать кружку в руках.

Вдыхать пар.

– А я тут уже второй месяц... дыра, конечно, зато недорогая... – Сандра вела за собой, и Тельма шла, страшась разорвать прикосновение и лишиться солнца.

Нельзя.

Светлячки и прежде встречались на ее пути, но никогда еще дар их не был столь сильным. Какой у нее уровень?

Хотя... светлячки не к той категории относятся, которой присваивают уровни.

– Ничего, вот стану знаменитой и перееду. Куплю себе квартиру на Острове. Или лучше дом? Как ты думаешь? Мой агент утверждает, что у всех звезд дома, а мне хочется квартиру... и чтобы непременно на Бэлторн-Биг... ты когда-нибудь бывала на Бэлторн-Биг.

– Да, – против воли ответила Тельма.

И тут же прикусила язык.

Ни к чему... случайная знакомая, временная соседка. Мечтает об Острове и славе. Все светлячки мечтают о славе. Или богатстве. О славе больше. Мистер Найтли, которого стоит найти, утверждал, что это – естественная потребность их природы.

– И я! – К новости Сандра отнеслась с восторгом. – Ездила на экскурсию... пять талеров, представляешь?!

В ее квартирке уютно пахло свежей выпечкой.

– Садись. Там так... Боги милосердные... голова кругом идет! И туманов, говорят, никогда не бывает... не знаю, правда ли...

– Правда.

– Класс! Ненавижу туманы, они меня в тоску вгоняют. Ты булочки будешь? Я, когда нервничаю, всегда булочки пеку, а есть нельзя, сама понимаешь...

Сандра похлопала по плоскому животику.

– Мой агент говорит, что мне надо похудеть...

– Куда уж больше. – Тельма присела.

Квартира... обыкновенная квартира, отражение той, которую заняла сама Тельма. Узкий коридор. Зауток-кухня и комнатка, но на этом сходство заканчивалось. У Сандры было тепло.

Нет, не потому, что из окна не дуло.

Дуло. И слабою защитой от сквозняка стал лоскутный плед, свернутый валиком. На пледе разлегся выводок матерчатых котиков с глазами-пуговицами.

Светлые обои.

Светлые цветастые шторы. Светлые накидки на стульях, да еще и бантами украшенные. В этом клоповнике и банты. Рамочки на стенах.

Фотографии.

– Мама моя. – Сандра поставила на стол плетеную миску с булочками. – И тетка... они близнецы, представляешь? Я одно время думала, что у меня две мамы! Правда, их и вправду две... они с мамой меня вместе растили...

– А отец?

Тельма взяла булку. Из вежливости. И еще потому, что жутко хотела есть. И чтобы занять рот, потому что кому понравятся неудобные вопросы?

Сандре.

Она лишь отмахнулась.

– Понятия не имею. Мама говорила, что он в городе проездом был. Коммивояжер. Представляешь?! Папаша-коммивояжер... у меня, наверное, по всей стране сотня братьев и сестер... хоть бы с одной познакомиться. Я всю жизнь о сестре мечтала, но у мамы... что-то там не ладилось, а тетка сказала, что детей не хочет...

Сандра говорила.

О себе.

О матери. О тетке. О городке своем, который оставила с полгода тому, и совсем даже не

скучает, разве что самую малость. Она пишет маме письма, правда, марки дорогие, и звонила бы, но у мамы телефона нет, а до шерифа, у которого есть – за деньги горожан поставлен, между прочим, – полторы мили ехать. И кто будет ждать?

И вообще, по телефону ей говорить не нравится. Неприятная магия.

Речь Сандры убаюкивала, обволакивал сладкой патокой голос ее, который хотелось слушать и слушать, не вникая, что именно там происходило или происходит. Главное, что голос этот, свет ее, освобождали собственную душу Тельмы от гари недавних воспоминаний.

– ...вот он мне и сказал, что у меня вроде бы как дар есть, и что мне надо уезжать, что я могу знаменитой стать... я-то сначала не поверила, – Сандра подливала чай.

И булки ее... с корицей... в прежней жизни, в той, от которой остались одни кошмары, булки с корицей пеклись по субботам. И мама позволяла себе съесть одну, говоря, что если уж суббота, то можно...

– ...мама была против, а тетка сказала, что мне надо попробовать. В любом случае есть куда вернуться. И я подумала, почему нет? Что я теряю?

– Ничего.

От Тельмы не требовалось поддерживать разговор. И это тоже было замечательно. Она совершенно не умеет притворяться, что чужие проблемы ей и вправду интересны.

– Вот! – Сандра все же отщипнула от булки. – Официанткой я всегда устраюсь... ну и собрала вещички... поехали... Дан, конечно, скотина еще та, но честный... квартирку вот нашел... и сессию устроил... я тогда так умаялась! Теперь вот просмотры... каждый день просмотры... а еще я пою немного... хочешь послушать?

– Сейчас? – Тельма очнулась.

Что она делает?

Сидит. Доедает булку, кажется, третью или четвертую, а может быть, и пятую, но главное, что это чужие булки, и квартира чужая, и жизнь, в которую ее, Тельму, за какой-то надобностью тянут.

– Нет, – рассмеялась Сандра, и голос-колокольчик спугнул недавние страхи. – Я в «Веселом колибри» выступаю. Знаешь?

– Нет. Я... в городе недавно.

– Это рядом. Еще одна дыра, но хотя бы платят. Дан говорит, что главное клиентуру наработать, а потом прорвет...

Сандра вздохнула.

– Ты как?

– Что? – Этого вопроса Тельма не ожидала.

– У меня тетка... она такая же... то есть чтица... не очень сильная, но все равно... с шерифом работает... округ-то тихий, но порой случается... она как-то даже пить начала, говорит, что чужая память не уходит. И поэтому нет у нее никого... ну, понимаешь?

Тельма на всякий случай кивнула.

– Был один... тетка влюбилась, а потом вот прочла... ну, она не говорила, чего прочла, только выставила его, а потом плакала... я помню... и она говорила, что когда я болтаю, ей легче становится... я тебя увидела и подумала, вдруг да тоже легче станет.

– Стало.

– Хорошо. – Сандра улыбнулась. – Ты не подумай, что я лезу, просто... тут так... холодно... особенно осенью... говорят, по осени старые боги оживают. Но это же ерунда, да? Ты ведь не веришь?

Тельме вспомнился подвал.

И певичка-светлячок, перерезанная пополам автоматной очередью, светловолосая, пусть и не такая яркая, как Сандра, но все же. И удушающий аромат крови, а может альвийских духов. Истончившаяся грань и жадное внимание того, кто прятался за этой гранью.

– Не верю, – солгала она, стряхивая ненужную память.

Прочь.

Чужое.

Не существует ни Бездны, ни тех, кто в ней заперт.

– Вот и я думаю... ерунда... тебе поспать надо. Тетка говорила, что если выспаться, тогда отпускает...

Хорошо бы.

Только Тельма подозревала, что сон не принесет ей отдыха.

Ошиблась. Снилось светлая столовая, и ветерок, который тревожил занавеси. Фарфоровый кофейник с серебрением. Полупрозрачные чашки.

Булочки с корицей.

– Гаррет, дорогой, не хмурься. Подумаешь, статья... – Мама сидела вполоборота, в короне солнечного света, такая легкая, такая воздушная. – Кто и когда верил газетам?

Листы упомянутой газеты шелестели. Сама эта газета, свежая, остро пахнущая типографской краской – Тельма уже тогда запахи ощущала ярко – встала черно-белой стеной. За стеной прятался Гаррет.

И хорошо.

Тельме не хотелось его видеть. И вообще, зачем он остался? Он ведь никогда прежде не оставался на завтрак, а тут вдруг. Даже аппетит пропал, хотя прежде на отсутствие аппетита Тельма не жаловалась.

– Ты не понимаешь. – Голос звучал раздраженно. – Из-за этой статейки пострадает мой имидж...

Мама фыркнула.

О ней писали много, часто и не всегда хорошее. Конечно, от Тельмы нехорошее старались скрывать, но она умела слушать, а во взрослых разговорах можно было услышать многое.

– ...моя мать будет недовольна.

– И что? – Мама пила кофе.

И жмурилась от удовольствия.

– И моя карьера... – Он все же отложил газету. – Элиза, ты же понимаешь, что скоро выборы. И на моей репутации не должно быть пятен...

Мама отставила чашку.

И блюдце отодвинула. Тихонько звякнула ложечка, соскользнувшая со стола на пол.

– То есть, – она умела говорить так, что становилось неуютно, и если бы Тельма не боялась привлечь внимание, она спряталась бы под столом, – ты полагаешь меня пятном на своей репутации?

– Нет! – поспешно сказал Гаррет. – Что ты, дорогая... я... неправильно выразился... извини... но эта статейка... они намекают, будто у нас... будто наши отношения...

Он смешался под маминым взглядом.

И покраснел.

Тогда еще Тельма подумала, что хорошо бы, если бы мама обиделась всерьез, если бы

выставила его из дому, как выставила однажды мистера Найтли. Но тот в конечном итоге был прощен, а вот Гаррету прощение ни к чему.

– Если тебя чем-то не устраивают наши отношения, дорогой...

– Элиза. – Гаррет выбрался из-за стола, он встал на колени перед маминым стулом, взял ее за руку. – Прости... я опять не подумал, что обижу тебя... я тебя люблю... ты же знаешь, что я тебя люблю... больше жизни... но моя карьера... моя партия... слишком многие поверили в меня. И как я могу их подвести?

– И что ты предлагаешь?

Все еще лед.

Но, к сожалению, не такой, который заморозил бы Гаррета. Тельма зажмурилась, представив себе расчудесную статую, вроде тех, что выставляли зимой в саду.

– Расстанемся... ненадолго... до выборов... всего-то несколько месяцев... я стану сенатором...

– Я беременна.

– Что?!

Растерянность.

И удивление.

– Я беременна, Гаррет. – Мама высвободила руку.

– Это точно? Ошибка...

– Исключена. Вчера я была у целителя. Собиралась сказать тебе вечером, но... похоже, вечер отменяется, – она усмехнулась, и Тельма сползла под скатерть, осторожненько, радуясь, что о ней вновь забыли. Под столом было тихо, и пусть ничего не видно, почти ничего, но так даже спокойней.

– Но срок...

– Четырнадцать недель...

– Как?!

– Обыкновенно... съемки... у меня и прежде случались недомогания... задержки, но тут... поздно что-либо делать.

Мамины домашние туфли легки.

Белая кожа. Розовый мех. Острые каблочки, которые стучат по паркету.

Ботинки Гаррета сияют свежим воском. Они огромны, длинноносы и похожи на двух черных крокодилов, которые неотступно следуют за мамиными туфельками. Того и гляди проглотят.

– И как...

– Как быть? – Мама остановилась. – Не знаю. Ты хочешь уйти? Пожалуйста. Я не стану держать. Если карьера так дорога...

Голос ее все-таки дрогнул, и стало так... так холодно, как будто солнце выключили.

– Но я не позволю, чтобы мой ребенок родился безымянным. Понимаешь, о чем я?

– Элиза...

– Нет. Послушай. Я не собираюсь обращаться в газеты и вообще говорить кому-либо. Мне нужна лишь запись в храмовой книге. И только.

– Элиза, дорогая... ты же понимаешь, что за этой книгой будут охотиться. А если найдется кто-нибудь, кто доберется... моя карьера...

– Ты способен думать о чем-то, кроме своей карьеры?! – Мама сорвалась-таки на крик. – Этот ребенок не виноват, что ты у нас слишком труслив, чтобы пойти против матери!

И слишком эгоистичен... или что я оказалась настолько наивна, что поверила тебе...

Мама стояла, но носок левой туфельки нетерпеливо стучал по полу. Мерный, раздражающий звук.

– Наш сын заслуживает высшего благословения. И покровительства. Покровителя. И ты признаешь его, даже если мне придется обратиться в суд. Слышишь, Гаррет?

– Элиза...

– Уходи!

И он ушел.

Широкий шаг. И туфли-крокодилы оставляют на паркете едва заметные следы, а еще – запах воска. Он ушел, и Тельма вздохнула с облегчением.

Она не знала, что вечером Гаррет вернется. С букетом белых роз и кольцом. И что мама, выслушав его, примет и розы, и кольцо, а спустя сутки – умрет.

...с людьми такое сплошь и рядом случается.

Небо в тучах.

Черная размокшая земля. Ограда, с которой дожди слизали побелку. Старый дом, просевший под собственной тяжестью. Чахлые розы во дворе. Детские качели.

Пустые.

К качелям Тельму тянуло с неудержимой силой, и ей с трудом удавалось оставаться на месте. А еще приходилось слушать неряшливую женщину, которая захлебывалась словами и слезами. Слезы текли по рыхлому ее лицу, размывая косметику, и оттого лицо женщины казалось Тельме похожим на одну из цвергских ритуальных масок.

Альха? Хозяйка потерянных Путей?

Или кровожадная Мароха, во рту которой скрывается путь в Бездну?

– Это он... это все он, я знаю... – Женщина вытянула руку, указывая дрожащим пальцем куда-то в сторону забора. – Вечно тут ходит... смотрит... заберите его! Заберите!

– Заберем, – пообещал Мэйнфорд, подавив зевок.

А ведь ему было скучно.

Почему?

Ребенок пропал, мальчишка восьмилетний, а ему скучно. И не спешит он объявить тревогу. Из черствости душевной? Сомнительно, что у него вообще душа имеется. Но тогда зачем явился сам? Будто иных дел нет. Три дня прошло после визита в «Веселую вдову», а подвижек никаких. Слепок почти не помог. И значит, скоро война начнется, а Мэйнфорд, вместо того чтобы землю рыть, эту войну предотвращая, слушает какую-то истеричную дуру.

Тельму тянет к качелям. И оглянувшись – эти двое слишком заняты беседой, точнее монологом, и женщина, спеша удержать собеседника, вцепилась в его рукав, она уже не плакала, но все равно была страшна – Тельма отступила на шаг.

Само это место.

Земля дышала.

И вздыхала, словно тяжело ей было Тельму держать. Она хватала за ноги грязными губами, а потом отпускала, со всхлипом, со стоном жалобным.

И голоса...

...голоса слышались отчетливо, а еще музыка.

...кто-то играл на свирели.

...мистер Найтли однажды принес свирель, вроде бы альвийскую, костяную. Он играл на ней, а что именно, Тельма не помнит. Или ей так думается, что не помнит?

...конечно, она тогда слышала эту свирель во сне, и не было музыки чудесней. А потом Тельма очнулась в гостиной, в уродливой ночной рубашке, босая, растерянная и несчастная оттого, что музыка замолчала. Кажется, она потом всю неделю не могла спать, боялась и желала вновь ее услышать, а мама кричала на мистера Найтли...

– Тельма! – Мэйнфорд спугнул свирель, и эхо ее разлетелось на осколки, а осколки утонули в голодной земле. – Что ты творишь?!

Она не знала.

Что-то.

– Ты слышал?

– Что?

– Свирель.

– Какую, к Бездне, свирель? – Он зол, настолько зол, что пар из ноздрей идет.

...Бельхан, Владыка подземного огня, в чьей воле зажигать и гасить не только горы.

Ему приносят в жертву клятвоотступников и убийц, а еще мертворожденных младенцев.

– Зачем мы здесь? – Тельма прислушалась, но свирель молчала. Какая жалость.

– Затем, что пропал ребенок, или ты пропустила?

– Дети часто пропадают, не так ли? – Если смотреть ему в глаза, то не увидишь ничего, кроме крошечного собственного отражения. – С ними вообще постоянно что-то случается...

...особенно с приютскими.

Но Мэйнфорд понял.

Правда.

Это ведь Гэрхэм-Никс, если не самая глухая подворотня Нью-Арка, то близко к ней. И пусть люди в Гэрхэм-Никс обитают в собственных домишках, но рядом свалка и кладбища, и грязная река здесь подбирается вплотную к домам.

Здесь пьют. Колуются.

Мечтают о лучшей жизни. Теряют мечты. Обретают ненависть к тем, у кого получилось вырваться. Здесь дети рождаются часто, и часто же уходят за грань.

Так почему Мэйнфорд обеспокоился вдруг?

Это ведь даже не его район.

– Седьмой, – сказал Мэйнфорд и руку выпустил. – За последний месяц. Из тех, о ком известно.

– Седьмой. – Тельма повторила, прислушиваясь к себе.

Ничего.

Хотя она же не провидица, чтобы видеть через слова. Предметы – другое дело.

– Всегда дети из таких вот... неблагополучных районов... но из семей приличных.

Относительно приличных, – поправился Мэйнфорд. – Поэтому и доходит до заявления. Я думаю, что на самом деле их гораздо больше, просто...

– Кому надо считать бродяг?

...или сирот.

– Да, – Мэйнфорд посмотрел на небо. – Если есть что... действуй, пока дождь не начался.

– Качели.

Старые. Их повесили, верно, лет десять тому. И веревки плотно вросли в плоть старой яблони. Ветвь ее прогнулась, вывернулась, будто дереву тяжело было держать и веревки, и пару дощечек между ними. Тельма провела пальцами по влажной пенке.

Пустота.

...или все-таки...

Свирель дразнила, она была слышна, но так далека... а пахло не альвийскими духами, нет. Аромат свежих яблок. Откуда здесь?

Не важно.

Она села на качели, и дерево раздраженно закрипело.

Тельма оттолкнулась, протянула руку, поймала жесткие пальцы Мэйнфорда. Хорошо, что он не знает, насколько она его ненавидит... хорошо...

...свирель звучала рядом.

Неназойливо.

Она звала за собой, но уходить со двора нельзя.

Тельма соскочила с качелей, едва не растянувшись в грязи, спасибо Мэйнфорду, удержал. Надо будет поблагодарить, потом, после, когда свирель замолчит.

Мальчишка на качелях просто сидел.

Бледный и длинный, будто росток, которому не хватило света. Он сгорбился и к дому спиной повернулся. А из дома доносились крики...

– ...я горбачусь целый день! И имею право расслабиться! А ты...

– ...скотина...

– Корова тупая!

Визг. И грохот, и вопль:

– Помогите!

Не помогут. Никто и никогда. И хорошо бы не слышать этих криков, не видеть ни матери, ни отца, которые, подравшись, помирятся за бутылкой виски.

Тельма не была им, восьмилетним мальчишкой, понимавшим слишком много для своего возраста, но в то же время явственно видела его чувства и желания. А еще слышала свирель. И голос ее обещал невозможное.

Он звал.

Куда?

В страну, где никогда нет дождя. Она скрыта за пологом туманов, она спрятана под зелеными коврами болот. В нее не приходит солнце, но разве оно так уж необходимо? Там горят костры, сотни и сотни костров, и у каждого будут рады гостю.

Там поют песни и пьют душистый яблочный эль, от которого на душе становится легко, весело. А по осени, когда приходит время отпускать туманы – их варят здесь же, в черных котлах, – открываются ворота, и тогда подземная страна может принять гостя.

Если конечно, он хочет.

– Билли! – хриплый голос заставил мальчишку вздрогнуть и обернуться. А ткань чужого воспоминания окрасилась гневом.

Как посмели его перебить?

Кого?

Потом. Мэйнфорд пусть разберется, а задача Тельмы – дать полноценный слепок.

– Билли, не слушай их! Подойди, Билли... что скажу...

Мальчишка шел.

И Тельма за ним, не выпуская руки Мэйнфорда.

Лужайка. Забор. И грязный человек, вцепившийся в штакетины. Нищий? Оборванец? Он длинен и желтолиц, длинноволос, но волосы эти сваялись, спутались. Из них торчали птичьи перья, куски лент, слабо поблескивали осколки стекла.

– Не слушай, я знаю правду, Билли, – оборванец подался вперед, но забор не пустил его, и человек пошел вдоль забора, перебирая руками. – Они лгут! Там темно, а в темноте живут чудовища!

Свирель почти замолчала. И тут же заиграла вновь.

– Уйдите! – Оборванец отпрянул. – Я там был! Я знаю!

Он закружился, и грязные полы его одежды раскрылись, придавая человеку сходство с огромною птицей.

– Прочь! Прочь! Прочь!

Он выхватил из-за пояса ветвь, замахал ею.

– У меня есть рябиновая гроздь! И бубенцы! – Во второй руке появилась связка бубенчиков. – Слышите? Я вам не поддамся! Прочь!

Мальчик отступил.

А свирель сделалась вдруг злой, и слушать ее было почти невозможно. Оборванец упал на землю, затыкая уши пальцами, он выл, скулил и выглядел жалко.

Мальчик же вернулся на качели.

Он сидел долго.

Ждал.

Чего?

Тельма позволила воспоминанию уйти.

– И что это было? – поинтересовался Мэйнфорд, уже безо всякого раздражения.

– Теперь-то вы слышали?

– Свирель?

– Да.

Издевается? Нет, непохоже. Стоит. Вертит в пальцах кристалл, думает. Интенсивно, надо полагать, думает, если лоб морщины прорезали, точно трещины в камне.

– Смутно, – наконец, признался Мэйнфорд. – И не свирель, а... звук какой-то... признаюсь, я поначалу решил, что просто помехи. Но если утверждаешь, что это свирель... и тот оборванец...

– Он слышал ее, – Тельма сунула руки под мышки.

Как же холодно. И туфли вновь промокли, а с ними – шерстяные чулки, которые накануне еще и порвались. Пришлось штопать, и теперь набрякший шов терся о пятку. Ее же и без того туфли растерли, и к вечеру до мозолей дойдет, хорошо, если не кровавых.

– Полагаю, с ним стоит побеседовать.

Тельма пожала плечами. Мэйнфорд – начальник, ему решать, с кем здесь беседовать.

Оборванца звали Ником, правда, местные величали его Безумным Ником.

– Совсем сбрендил парень... – сказал сосед, которому не терпелось узнать новости. – Значит, он мальчонку уволок?

– Разберемся.

– Он... кто ж еще... он так-то тихий, только музыки не любит – страсть... а вот детишек – так очень даже... наши-то не гоняли, безобидный... думали, что безобидный. А оно вона как...

– И где его найти?

– У реки.

От реки воняло тухлой рыбой, сероводородом и еще какой-то химической гадостью. Сама вода имела желтушный оттенок, который отбивал всякое желание не то что искупаться, но даже прикоснуться к ней. Безумный Ник же устроил логово в старой лодке, наполовину утонувшей в береговой грязи. Вторая, более-менее целая половина, выдавалась в воду. Ник сидел на носу, спустив голые ноги в воду.

Гостям он не удивился.

– Они его забрали, – сказал он печально.

А Тельме подумалось, что Ник на самом деле куда моложе, чем кажется.

– Кто? – Мэйнфорд шагнул в лодку, и та закачалась, грозя вовсе соскользнуть в воду. А Тельме подумалось, что этакое купание вряд ли навредит начальству.

– Они... – Ник пожал плечами.

Тоший.

И весь какой-то... неправильный... худой? Да, но чересчур уж худой даже для бродяги, словно сами кости Ника были слишком тонки, слишком хрупки. Если приглядеться, а глядела Тельма против желания, мучимая несвойственным ей прежде любопытством, то становится заметна прозрачность желтушной кожи Ника, и хрупкость его волос, которые вовсе и не волосы – паутина.

– Зачем?

– Чтобы украсть его время. – Ник отвечал спокойно, не видя в вопросах, которые ему задавали, ничего-то странного. – Они всегда крадут чужое время... мое вот взяли. Но мне никто не верит. И ты не поверишь. Арестуешь?

– Еще не знаю.

Мэйнфорд не лгал.

– За что тебя арестовывать? – спросил он. А Безумный Ник улыбнулся безумной же улыбкой. Он встал, стряхнул с босых ног воду и сказал:

– Пойдем. Я тебе покажу.

Он был бос, но холода не чувствовал, он шел по узкой тропе, проложенной меж груд мусора, и пританцовывал. А Тельма не могла отделаться от ощущения, что если она приложит усилие, прислушается, то услышит яркие переливы свирели.

– Вот, – Ник остановился у очередной кучи и, отбросив дощатый щит, прикрывавший лаз в нее, сказал. – Все там. Вам хватит, чтобы... хватит вам.

Сам он сел на землю, скрестил ноги и, вытащив из рукава связку бубенцов, затряс ими.

Мэйнфорд, наклонившись, заглянул в дыру, но, верно, ничего не увидел. Огляделся, палку подобрал, сунул, пошарил... и вытащил-таки кристалл вызова.

Группа явилась через четверть часа. И это были не самые лучшие пятнадцать минут в жизни Тельмы. Дождь зарядил, мелкий и нудный, и странно, но на сей раз вода не избавила от видений, напротив, голоса бубенцов словно захлебывались в ней, а свирель звучала рядом.

Звала.

И Тельма с трудом удерживалась от того, чтобы не пойти на ее голос.

...а потом появилась-таки полиция.

Люди.

Цверг из экспертного отдела. Охотник с парой промокших гончих на сцепке. Псы налегали на ошейник, хрипели, не то лаяли, не то кашлем заходились. Из черных пастей их стекали нити слюны, седые шкуры блестели, словно маслом намащенные.

След они взяли, от дыры и до Ника, который не шелохнулся даже, когда носы собак уперлись в голые его пятки. Он больше не тряс бубенцы, но просто сидел, запрокинув голову, уставившись распахнутыми глазами в серое небо.

Гончие вздыхали.

И крутились рядом с Ником. А потом развернулись к воде. К берегу и привели.

– Там, значит... – Мэйнфорд дошел до самой кромки воды, и Тельма, о которой словно все забыли, последовала за ним.

Нет, ей вовсе не было любопытно.

Любопытство – опасное качество, но ее тянуло. К воде.

К грязной воде. Мутной воде. Полупрозрачной, как старое стекло. И Тельме казалось, что на нее смотрят.

Со дна.

– Дальше никак, – сказал Охотник и, присев, обнял собак. Он был похож на них, мосластый, неуклюжий с виду, но при том невероятно опасный. – Если только водолазов...

Мэйнфорд покачал головой:

– Не найдут. Старое русло.

И ничего не добавил, но все поняли.

Водовороты. И омуты. И сама Бездна с ее неутолимым голодом, с привычкой брать все, что люди в неосторожности своей готовы подарить, не столь уж важно, мусор то или дети.

Водолазам не позволят спуститься здесь. Да и сами они... вряд ли в городе найдется безумец, который согласится рискнуть.

– Думаю, нам и так хватит...

Ник все еще сидел. А свирель, странное дело, Тельма не слышала ее больше, будто невидимому менестрелю стало скучно или же не скука была причиной, но обилие посторонних. Разве такую музыку слушают в компании? Вот если Тельма рискнет вернуться одна.

Меж тем из дыры извлекали вещи.

Потрепанная кукла в грязном платье. Стоптаные ботинки. Брошь и серьги – свирели не любят металл. Амулет на удачу, давным-давно разряженный, а потому бесполезный. И еще один, от нечисти. Смешно, разве свирель – нечисть?

Мокрый медведь.

Штаны с оторванным карманом. И еще туфельки, почти новые, пусть и заросшие грязью...

Ник улыбался.

И выглядел совершенно счастливым, но лишь Тельма могла сказать, почему: скоро его заберут туда, куда свирели не доберутся.

У Мэйнфорда болела голова.

Случалось.

Надо просто выспаться. Поесть. Отдохнуть. И тогда боль отступит. А пока Мэйнфорд может глотать травяные пилюли, запивать их дрянным кофе и надеяться, что отпустит.

– Дерьмово, шеф? – поинтересовался Кохэн.

Мэйнфорд кивнул бы, если бы не опасался, что неловкое это движение не вызовет новый приступ. А ведь боль только-только отступила, отползла куда-то на периферию, где и затаилась. Час-другой продержаться, а там, глядишь, и вправду домой, в кровать... пару часов здорового сна.

Хорошо бы без кошмаров.

– Может, тебе того... – Кохэн щелкнул пальцами, и в воздухе запахло хвоей.

Пусть иллюзия, но дышать стало легче. Окно бы открыть, вот только за окном вода и смрад, городскую грязь ныне не смыть дождем. Так что пусть уж лучше призрачная хвоя.

– Потом... приехали?

– А то... – Кохэн сел в кресло, ногу на ногу закинул, руки на впалом животе сцепил. Вот поганец, никакого уважения к начальству. – Что воронье на падаль. Будешь говорить?

– Придется.

Встречаться с газетчиками желания не было. Вездесущее племя.

Любопытное.

Одаренное. И ложь чувствуют, что гончие кровавый след. А потому начальник управления и самоустранился. Пока все слишком мутно.

Призрачно.

– Что выяснили? – он потер виски.

– Ну... по предварительной оценке вещи принадлежат семнадцати разным жертвам, – Кохэн откинулся в кресле и глаза прикрыл. – Кое-что удалось соотнести, но... сами понимаете, в дыре этой сыро, вещи лежали долго. Она старается, шеф, но зацепиться не за что. Из последних есть пара приличных отпечатков ауры, а в остальном... только и может сказать, что разные хозяева...

– Семнадцать...

– Шеф, кто мог знать?

Никто не мог.

А более того, никто и не хотел знать.

– Подозреваемый наш ничего не отрицает, но и толку от него не добьешься. Сидит, улыбается.

– Откуда он вообще взялся?

Обыкновенный бродяга, которых в городе сотни и тысячи, если не сотни тысяч. Кто и когда считал их? Но ведь откуда-то должен был появиться Ник, прозванный Безумным.

– Выясняем... сделали слепок... но тут уж подождать придется.

Это Мэйнфорд понимал.

И все же ожидание давалось с трудом. Всегда-то он был нетерпелив, порой – слишком нетерпелив. И матушка, помнится, укоряла. Будущему Сенатору приличествует сдержанность, когда она еще думала, что с Мэйнфорда выйдет хоть что-то приличное.

Нет, не о том... не вовремя... позвонить Гаррету, пусть выступит с речью... у него-то всегда получалось с газетчиками ладить, но... вспомнят о родстве, взвоят... нет, Гаррет и так выступит с речью. И если подумать, отстраненно подумать, не о конкретном деле, но о Городе и нуждах его, то нынешнее дело как нельзя кстати...

...хороший кирпич в бастион предвыборной кампании.

– Что еще? – Мэйнфорд все-таки поморщился.

– Целителя пригласили, как положено... – Кохэн ущипнул себя за ухо, а значит, или озадачен, или недоволен, или и то, и другое. Но сейчас Мэйнфорду неохота разбираться в эмоциях зама, вообще в эмоциях...

– И что?

– Джорджи утверждает, что мы взяли не того...

– Что?!

– Джорджи, – спокойно повторил Кохэн, – утверждает, что мы взяли не того. Что наш парень и с мышью не справится. Крайняя степень истощения организма. Атрофия мышц. Стеклянные кости... он заключение составит, но я попросил пока погодить. Ну, с заключением...

Проклятие!

Мэйнфорд закрыл глаза.

Вот только этого не хватало. Джорджи ошибся. Или нет, он молодой, но талантливый паренек. Еще год отработки, и уйдет. Уйдут в какую-нибудь из центральных лечебниц, и будет не с преступным элементом возиться, а прыщи на сенаторских задницах удалять.

Нет, сам бы Джордж, может, и остался, но у него невеста.

А у невесты – запросы.

Она из Первого округа, из приличной семьи, а в приличных семьях целители, на полицейской ставке состоящие, не ко двору... все зло от баб...

Но дело не в ней.

А в Безумном Нике, и в том, что вряд ли Джорджи ошибся. И что отчет свой он напишет, как и должен, и будет в этом отчете именно то, о чем сказал Кохэна, а начальству сие не понравится.

Начальству нужен подозреваемый.

И обвиняемый.

Виновный.

Тот, кого можно вздернуть на радость газетчикам и во имя общественного спокойствия, а потому у присяжных, кои будут выносить приговор, не должно возникнуть и тени сомнений в виновности Ника.

– Хорошо. – Мэйнфорд поднялся. – Передай Тельме, пусть отдохнет часок... накорми чем... ну сам знаешь...

– Обогрей. Приголубь, – хмыкнул Кохэн. – Мэйни, надеюсь, ты не намерен девчонку выжить?

– Какое тебе...

– Прямое. Сам подумай, когда нам еще такое счастье обвалится? Ты же видел слепки. Нет, Бездна меня задери, ты же их делал! Да старик наш ей в подметки не годится. Я понимаю, что ты баб не любишь... и дурак...

– Не забывайся.

– С тобой забудешься, но... Мэйни, личное личным, а участку она нужна. Ты же

понимаешь.

Хуже всего, что Кохэн был прав, и правота эта странным образом головную боль усугубляла, порождая в душе иррациональную злость на Тельму.

Какого демона она объявилась?

Именно сейчас?

С даром своим, с упрямством, с тайной, в которую Мэйнфорду придется сунуть нос, а у него и без того забот полно.

– Где она?

– В чистой комнате...

Она сидела на полу и смотрела на грязный мяч. Некогда он был сине-желтым, шитым из лоскутов кожи и, вероятно, дорогим. Но краска истерлась, кожа набрякла, а швы разошлись. Тельма сунула в дыру пальцы и... лицо отрешенное.

Некрасивое.

Неправильно, чтобы женщина была некрасивой. И все-таки... чудится нечто знакомое. Это из-за голосов, из-за призраков, слышать которых Мэйнфорд не желает, из-за переутомления и травяных таблеток, от которых во рту надолго поселился гадостный вкус лакрицы.

Что она видит?

Ничего, судя по легкой брезгливой гримасе на лице дежурного малефика. Ему-то надоело сидеть рядом и писать один смутный слепок за другим. А нормальных здесь не получится. Мяч провалялся в дыре не один день, а может, и не один месяц, и память его стерта. А если не так, то Мэйнфорду доложат. Сейчас же его ждут газетчики.

Он никогда-то не различал их лиц, хотя памятью обладал неплохой, но вот...

Клекот.

Голоса. Камеры. Яркие вспышки, которые отдаются в затылке мучительную болью. И микрофоны, что норовят сунуть Мэйнфорду под нос. Гул. И в этом гуле сложно вычленить отдельные слова.

Отдельных людей.

Да и не люди они вовсе – сила, запертая в махоньком конференц-зале, иррациональная, враждебная самой себе. Потoki ее расплзались по стенам, точно пробуя их на прочность, и встроенные щиты трескали.

Искрили.

Но держали. Что им с полсотни газетчиков? Мэйнфорд – другое дело. Он сощурился, пытаясь отрешиться от этого зрелища, в чем-то захватывающего: вихри и протуберанцы, рождающиеся звезды и они же, сгорающие в столкновениях интересов. Воронки поглотителей, и потоки доноров, которые не желают быть донорами, но слишком слабы, чтобы самим поглощать.

Быть может, позже.

Повзрослев. Заматерев. Лишившись остатков человечности.

Мэйнфорд поднял руки, позволяя собственной силе выплеснуться на толпу. И та отпрянула.

– Что вы себе позволяете?! – Джаннер отряхнулся. Его единственного Мэйнфорд узнавал в лицо, наверное, потому что ненавидел, а ненависть – хороший стимул для памяти. – Это незаконно!

– Незаконно производить откачку без письменного на то разрешения источника, –

отрезал Мэйнфорд. – Или у вас оно имеется?

Бледная девушка – ее он прежде не видел или видел, но не запомнил, – осела на стул.

– Имел место случайный отток... ввиду разницы потенциалов... – Джаннер облизнулся.

Он был отверженным даже среди своих.

Его ненавидели. И боялись. А потому разноголосая стая смолкла, отползла, предоставляя именно Джаннеру почетное право первого вопроса.

Первого броска.

И как никогда прежде Мэйнфорд чувствовал себя жертвой. Это ему не нравилось.

– Тогда будем считать, что и у меня имел место случайный выброс силы...

Джаннер захихикал, и плечи его мелко затряслись. Он умел ценить шутки, правда, предпочитал шутить сам. И оглянувшись, он подмигнул бледной дамочке.

– Раз уж вы здесь, мистер Альваро, – в его устах обращение звучало насмешкой, намеком, что Джаннер, как ни кто, понимает, насколько нелепы эти игры в обыкновенного человека, – то, может, начнем?

– Начнем, – согласился Мэйнфорд.

И камеры защелкали, как почудилось – с облегчением. И сила, притихшая было, потянулась к Мэйнфорду, разглядывая, пробуя на вкус.

– О скольких жертвах идет речь?

– Ведется следствие...

...слова-щит, ненадежный, но хоть какой-то, и все равно вопросы ударяют по нему, заставляя морщиться. Мэйнфорд не любит лгать.

– ...более двух десятков жертв...

– Ведется следствие.

– ...почему полиция взялась за расследование только сейчас?

Блеклый голос, как и сама она, но вопрос...

– Следствие...

– Уже слышали, мистер Мэйнфорд, – ответил Джаннер, приподнимаясь со своего места. – Это и в самом деле скучно. Вы же понимаете, что мы все равно узнаем правду...

...или то, что выгодно правдой счесть.

Самому Джаннеру на правду глубоко наплевать. Его волнуют тиражи и гонорары. Даже не так, гонорары, а уж потом тиражи, от которых, собственно говоря, гонорары и зависят.

Он оскалился.

И готов к прыжку... и значит, раскопал что-то... что? Мать малышки молчать не станет. Соседи опять же. И завтра, если не сегодня, о Безумном Нике напишут все газеты Нью-Арка, от степенной «Телеграф» до вечно находящегося на грани закрытия «Блуда».

Разве что «Сельскохозяйственный вестник» удержится от искушения. И то не факт.

– Два десятка жертв. – Джаннер говорил медленно, наслаждаясь бенефисом и почтительным вниманием коллег, которые отступили, примолкли, надеясь урвать хоть что-то из грядущего скандала. А скандалу быть, иначе Джаннер не был бы столь самоуверен. – И все дети – из бедных семей, верно?

– Ведется следствие. Личности устанавливаются...

– Чушь, – ноздри Джаннера раздувались, а серые глаза заволкло туманом. Он давно уже утратил контроль над собственным даром, позволив силе обжиться в человеческом теле, и потому тело это было напрочь лишено благоразумия. – Вы это знаете... мы это знаем... если бы пропал кто-то из богатых детишек, весь город стоял бы на ушах. А эти дети? Кому есть

дело до них?

– Мне.

Не стоило этого говорить.

Поддаваться.

Но Джаннер умел зацепить. И сейчас, получив свое, осклабился широко, счастливо.

– Вам, – протянул он. – Конечно... вам и вашему брату... удачное стечение обстоятельств, верно? Скоро выборы... самое время напомнить людям о том, сколь многое зависит от правильного... выбора.

Он нарочно говорил медленно, делая паузы между словами, словно позволяя собеседнику осознать сказанное.

– Ваш брат... сенатор... кажется, ратует за расширение социальных программ...

Молчать.

Ни слова, иначе каждое будет обращено против Мэйнфорда.

– Борьба с бедностью... хороший лозунг. Не знаю, как вам, а мне он по вкусу...

Джаннер оглянулся.

И нити его силы потянулись к жертве, Джаннер не собирался отпускать ее. Нет, он не опустится до такой пошлости, как убийство, и критического истощения не допустит. Он лишь будет играть, высасывая ее почти до доньшка, а потом отступая, позволяя восстановиться, чтобы при следующей встрече вновь насытиться.

Игра с законом.

Игра на грани.

И когда-нибудь Джаннер забудется и грань переступит. Что ж, Мэйнфорд умеет ждать.

– Этаким образ защитника слабых... угнетенных... таких вот детишек, на регулярные исчезновения которых городские власти не обращали внимания. Почему, к слову? Неужто полиция была так слепа?

Он воздел руки к потолку, театральный жест, нарочитый, в отличие от статей, которые при всей своей дерьмовости получались очень даже искренними.

– Или же дело в ином?

– В чем же? – поинтересовался Мэйнфорд, смирив ледяную ярость.

– Скажем... полиции было выгодно до определенного момента не замечать... взаимосвязи?

И снова пауза.

Затянувшаяся.

Джаннер сел, сцепив руки на животе. Доволен? Ему и ответ не нужен. Да и что отвечать? Что заявлений было с десяток? Что попадали они на разные участки?

Что дети пропадают всегда?

Уходят сами, тонут, проваливаются под землю. У Нью-Арка сотня жадных ртов, а дети любопытны. Но что ни скажи – не поверят. Правда скучна, а вот жирная кость, брошенная Джаннером, дело иное. И теперь каждый в зале, в силу дара и природного ума, пытался понять, что именно он может вытащить из этой истории помимо сказки о маньяке.

Гаррет взбесится.

И начальник.

И послать бы их всех в Бездну, но...

– К слову. – Джаннеру надоело молчание. – Раз уж мы заговорили о том, что следствие ведется... хотелось бы поинтересоваться иным делом... о стрельбе в баре «Веселая вдова»...

Надо же, а еще недавно Мэйнфорду казалось, что хуже быть не может.

Может.

– Есть ли подвижки?

– Ведется...

– ...следствие, – закончил фразу Джаннер. – И конечно, полиция прилагает все усилия, чтобы найти виновных. Мы это уже слышали, мистер Мэйнфорд... лучше скажите, раз уж вам не все равно, стоит ли ждать новой войны?

– А в городе случались войны?

Но Джаннер не считал нужным услышать вопрос, он вообще обладал удивительным свойством слышать лишь то, что ему было выгодно.

– Был убит внук Вельмы Таар... и не просто убит... тело осквернили... и полагаю, вы не настолько наивны, чтобы полагать, что Старая Ведьма это спустит. Она ведь приходила к вам?

– Миз Вельма Таар проходит свидетелем по делу...

– Свидетелем, – протянул Джаннер, – как любезно с ее стороны... к слову, мистер Мэйнфорд, вы в курсе, что миз Таар недавно приобрела акции «Бельтран Корп»?

– Нет...

– Что-то около тридцати процентов... компания не из крупных, но ей принадлежат склады на Восточных пристанях, а это, если не ошибаюсь, не совсем ее территория...

...Восточные пристани держит Хромой Лью, еще тот ублюдок.

Жесток.

Нагл.

И слишком умен, чтобы оставить следы.

– ...с одной стороны, у миз Таар нет повода предъявлять претензии... скажем так, коллегам... не было, до недавнего времени...

– Вам бы в полицию пойти, – не удержался Мэйнфорд. И вновь не был услышан.

– ...в нынешней же ситуации... – Джаннер выразительно замолчал, позволяя остальным сделать свои выводы. А выводы напрашивались до отвращения правдоподобные.

...убрать надоедливого мальчишку, который был слишком неосторожен, а потому подставлялся раз за разом. Рано или поздно, но его зацепили бы на серьезном деле, и на сделку он пошел бы, тут и думать нечего, сдал бы любимую бабушку, чтобы срок скостить.

...получить веский повод для войны.

...прямого столкновения Лью не выдержит, а остальные не станут вмешиваться. Убийство родича – веский повод для мести...

...захватить пристани...

Проклятие.

И если так, то что бы Мэйнфорд действительно ни сделал, войны не избежать.

В такие минуты он искренне ненавидел свою работу.

– К слову, – подал голос Джаннер, наслаждаясь произведенным эффектом, – мистер Мэйнфорд, а вы знаете, кому принадлежат остальные семьдесят процентов «Бельтран Корп»?

– Нет.

И чувствовал, что знание это не сделает его жизнь более радостной.

– Как же! Неужели вы настолько отошли от семейных дел? Если мне не изменяет память, «Бельтран Корп» была основана еще вашим отцом...

...подумалось, что начался-то день в общем-то неплохо...

Глава 8

– Джаннер – еще то дерьмо... качественное, можно сказать, высшей пробы, – от Кохэна, сына Сунаккахко, отчетливо пахло смертью. Аромат этот, осязаемый, надо полагать, не только Тельмой, – Кохэна, как она успела заметить, в управлении сторонились – не был неприятен. Напротив, он казался столь же неотъемлемой частью масеуалле, как и ровные, треугольные зубы.

Еще и клыки вызолотил.

Зачем?

Тельма этого не понимала.

Привлекать к себе внимание, вызывать страх, недоверие... ненависть. Впрочем, возможно, он, истинный потомок Древней крови, наслаждался чужими эмоциями? Чувал их определенно, а потому и не отступал от Тельмы, держался в стороне, достаточно в стороне, чтобы не просить его убратся, но все же слишком близко.

Тельма не боялась.

Недоверие?

Пожалуй, в этом мире не осталось никого, кому бы она верила.

Ненависть?

Ее ненависть предназначалась не ему, а потому Кохэну, сыну Сунаккахко, было нечем поживиться. А он все одно не уходил.

Наблюдал.

О чем думал? Кто знает.

– Они с Мэйни терпеть друг друга не могут, – Кохэн тронул золотую фигурку оленя, свисающую с косы. – Рано или поздно, но он его сожрет...

– Кто и кого?

Олень сменился... кажется, выдрой? Не разглядеть. И глядеть не стоит, дурная примета. Не то чтобы Тельма верила в приметы, но с масеуалле никогда нельзя быть уверенным: слишком инакова их магия, пусть и осталась от нее лишь тень.

Он же усмехнулся и выдру – все-таки выдру – отпустил.

– А вот на это, милая дева, можно сделать ставку...

Тельма фыркнула. Милой она никогда себя не считала, а девой перестала быть еще в пятнадцать, разменяв никому ненужную невинность на доступ к закрытой части библиотеки.

Старый Йорге знал цену своим сокровищам.

– И как соотношение?

В черных глазах Кохэна блеснуло... что? Интерес? Насмешка? Если долго глядеть в глаза масеуалле, можно увидеть не только Бездну, но и Низвергнутых.

– Семь к одному в пользу Мэйни.

– Пожалуй, воздержусь.

– Ты не азартна?

– А мы уже на «ты»?

Он подобрался близко, слишком близко, и тонкий аромат смерти кружил Тельме голову.

– Почему бы и нет? – Кохэн коснулся щеки. Пальцы его были теплыми, но прикосновение... Тельма отодвинулась. – Такая красавица...

– Ты всем это говоришь? – Она встала. – И как?

– Обычно, верят. Нет женщины, которая не считала бы себя красивой...

– Или ты просто таких не встречал.

– Возможно. – Он склонил голову набок. И теперь разглядывал Тельму с неподдельным интересом, более того, он позволил прочувствовать этот интерес... – К слову, ты и вправду довольно...

– Симпатичная?

– Не веришь? Хотя... не верь... не то слово... и не миленькая. Хорошенькой тебя тоже назвать сложно, – он обходил Тельму по кругу, не спуская взгляда. – Но вот притягательной... такие необычные черты лица... его сложно забыть...

Намек?

И сердце бьется пойманной птицей, надо успокоиться, потому как страх масеуалле почует. Уже чует. Вон, как трепещут ноздри, и губы приоткрыты, дыхание частое, хриплое...

...он не может знать.

Откуда?

Среди маминых друзей не было никого из... этих... их вообще не пускали на Остров... и сейчас не пускают...

– Маленькая тайна? – Он оскалился, блеснув позолотой клыков... а в левый и рубин врезан.

Это что-то значит, Тельма читала, но...

– Маленькая сладкая тайна... или не маленькая? Давняя... – Кохэн сделал глубокий вдох и зажмурился. – Тяжелая... она тебя мучит, Тельма? Хочешь поделиться?

– Нет.

– Конечно... ведь тогда тайна перестанет быть тайной. – Он отстранился, и Тельма вздохнула с немалым облегчением.

Хватит с нее!

– Не волнуйся, – Кохэн не собирался отступать. Алый камень в его клыке на каплю крови похож, настолько похож, что Тельма не способна отвести от этой капли взгляда.

Магия масеуалле?

Или собственная Тельмы слабость? Плохо, если так. Она не желает быть слабой.

Не здесь.

– Не то чтобы мне вовсе нет дела до твоей тайны. Скорее уж я готов признать, что тайны есть у всех... большие и маленькие... грязные и не очень... сладкие... знаешь, чем старше тайна, тем слаще она на вкус...

– Прекрати, – Тельма встала.

Встала бы, но смуглая ладонь легла на плечо.

– погоди. Я хочу тебя предупредить. Джаннер... дерьмо первостатейное, как я уже говорил, но при этом умен, наблюдателен и любопытен без меры. У него талант, Тельма. И чужие тайны он любит не меньше меня.

– Какое ему дело...

– Ему дело до всех, кто так или иначе связан с Мэйнфордом. А ты теперь связана. Ты новенькая и девушка. Джаннер считает девушек беззащитными, легкой добычей.

Пускай.

Тельма как-нибудь сумеет за себя постоять. Получалось же у нее это в последние десять лет...

– Он умеет находить слабые места. И правильные приманки. Он доберется до тебя... и

расскажет много интересного...

– О Мэйнфорде?

– И о нем... хотя, к великому разочарованию Джаннера, в прошлом Мэйни нет ничего страшного... или отвратительного...

...да неужели? Или у Тельмы не те представления о страшном?

– ...а вот я... – Кохэн присел на стол и руку протянул, но Тельма не позволила себя коснуться, что, впрочем, несколько его не огорчило. – В свое время он неплохо на моей персоне тиражи поднял. Раскрыл людям глаза на кровавую мою натуру. И тебе раскроет. В приватном порядке.

– Ты этого боишься?

– Мне не нравится Джаннер. И я бы с огромным удовольствием вырезал ему сердце. Но, к сожалению, это все еще противозаконно...

Безумие.

И все-таки он говорит правду, а сожаление в голосе – неподдельно.

– Думаете, не смог бы? – Кохэн смотрел на Тельму сверху вниз. – Я вырос в Ацтлане, в том новом Ацтлане, который оставили нам милостью победителей. И страхом их, потому как поняли, что подобные мне слишком тесно связаны с землей. Никогда не верь в милость победителей.

– Не верю.

– И правильно... есть только выгода... им было выгодно запереть нас там. Резервация... знаешь, что такое резервация? Это кусок прошлого, запертый в каменных стенах. Возведенные с полтысячи лет тому, они по сей день прочны... неприступны... во всяком случае, не найдется глупца, который по собственной воле подошел бы к Ацтлану. Нельзя сказать, что мы вовсе под замком. Нет, деточка... имеются избранники... – он щелкнул пальцами, выхватывая нужные слова, – те, кому выпала высокая и все же сомнительная честь представлять малую народность масеуалле в Сенате. Там их не особо любят. А масеуалле и вовсе считают едва ли не отступниками... не без причины. Но это все пустяки... так вот, Тельма, мой дед был отмечен печатью Ицлаколиуке. Слышала о нем?

Тельма покачала головой.

– Чаще его называют Обсидиановым ножом... – голос Кохэна звучал мягко, и не говорил он – пел, растягивая слова, выплетая из них мелодию. Он раскачивался, что кобра перед броском, и черные жирные косы извивались, а золотые фигурки, вплетенные в них, позвякивали, вплетая свои голоса в чудовищную песню масеуалле. – Он ступает по земле босым, и ноги его черны, покрыты запекшейся кровью врагов. Его руки украшены тысячей тысяч шрамов, и за каждым – украденная душа. Он держит в левой обсидиановый нож, а в правой – четыре стрелы. За спиной его висит не щит, но Дымящееся зеркало, в котором Ицлаколиуке по желанию своему видит мир и каждого человека в этом мире. А еще зеркало плодит ядовитые туманы...

– Он ушел.

– Был низвергнут, как и прочие боги этого мира...

...и если хоть малая толика того, что о них пишут, правда, то факту сему следовало лишь порадоваться.

– Но здравомыслящие люди понимают, что подобная сила не исчезает бесследно. Потому и был оставлен Ацтлан. Потому правительство и говорит о территориальной его независимости. Потому старательно закрывает глаза на все, что происходит за стеной. Так

вот, мой дед был отмечен печатью Ицлаколиуке. А моя мать сама взошла на алтарь его, и отец собственной рукой вырезал ей сердце. Я этого не помню, слишком мал был. Мы были малы. Близнецы среди масеуалле появляются редко, а потому полагают их знаком особого расположения богов...

...Тельма не видела.

Не позволят ей увидеть, но вот ощутить... горький дым на губах. Отблески костров, которые пылают на вершинах пирамид. Сами эти пирамиды, уродливые, приземистые, выросшие из напоенной кровью земли. Корни их уходят вглубь проклятого города, на них, могучих, держатся дома и улицы, мощенные желтым камнем.

Корни добираются до стены.

И сворачиваются, не смея коснуться ее...

– ...мы росли, зная, что избраны богами... – этот голос пробивался сквозь гул ритуальных барабанов. – Нас кормили мясом...

...и Тельма не стала уточнять, чье именно это было мясо.

– ...нам было семь, когда отец решил, что настал его черед уйти Дорогой Птиц. В тот год случилась засуха, и колодцы Атцлана опустели. Он наполнил их собственной кровью... так нам сказали... и весь город плясал и пел, восхваляя силу его духа и величие жертвы...

...и вновь огни, и вновь барабаны. Душный смерти аромат и сладкий – благовоний. С вершины пирамиды город глядится крошечным.

Он далек.

Манит.

Но там, внизу, живут те, кому выпало от рождения кровью своей питать низвергнутых богов, дабы ослабевшие крылья их хранили благословенный некогда Атцлан.

– ...нам поднесли золотую чашу, до краев наполненную кровью его. И я прекрасно помню ее вкус. Не бойся, девочка, я уже давно не пил человеческой крови...

...но камень в его клыке не поблек.

– Нам было тринадцать, когда моя сестра расцвела. Наступило время, которого весь Атцлан ждал с нетерпением: нас представили богам.

...демонам.

...с кривыми ртами, с языками, что вываливаются из этих ртов, словно ковровые дорожки. Полуслепым, но жадным, вечно голодным, и ныне – больше, чем когда бы то ни было.

– ...я помню тот день... как сейчас помню... я вижу его во сне, маленькая девочка, которой мнится, что нет горше ее горя. Не каждую ночь вижу, нет. Но мне хватает, чтобы память была наказанием. У моей сестры смуглая кожа. Узоры на нее ложились ровно... девять часов, Тельма... девять часов я должен был стоять неподвижно, пока их наносили, орлиным пером и кистью из волос альхаши. И когда не осталось ни миллиметра чистой кожи, наши волосы разделили. Заплели...

...и вновь гудели барабаны, торжественно и мрачно, наполняя чужую душу предвкушением события воистину грандиозного. Чудо? Чудеса в Атцлане случались часто, к ним привыкли, но нынешнее...

– ...на шею ее повесили ожерелье из белых цветов. Мне достались желтые. Дед сам явился за нами...

Сухой старик с пергаментной кожей. И кожа эта расписана черными узорами, но нынешние не нарисованы – вырезаны костяным ножом, и это верно.

Старик облачен в плащ из человеческих шкур.

А на седой голове его возлежит величайшее из сокровищ Атцлана – Багрый венец. Правда, в нем не хватает камня...

– ...он взял меня за руку... и мою сестру... никогда прежде он не позволял себе прикасаться к нам. Именно тогда я понял, что слышу их, всех, запертых там внизу, полных не отчаяния, но гнева. Пока еще лишь гнева... и голода... я ощущал эхо силы их и ужасался тому, сколь велика она.

...лестница.

Каменные грубые ступени.

Пламя на стенах. Рисунки. Тельма могла бы проникнуть глубже, и тогда поняла бы их значение. Искушение велико. К чему слушать рассказ, если можно увидеть все самой? Но она все-таки держалась на грани чужой памяти.

– ...их не так много уцелело... дед, пока вел, рассказывал, что до войны народ масеуалле хранили две дюжины богов, а еще дюжина служила им. Но слабые первыми пали в той войне, а сильные лишились сил, ибо отступники отказали им в праве на кровь, священном праве, на котором держалась Земля Белых цапель. Они принимали чужую веру, уходили под чужую руку сотнями и тысячами, сотнями тысяч, говоря, что устали дарить богам жизни родных и близких, забыв, что нет чести выше...

...здесь не слышно было барабанов.

И ничего не было, кроме камня и воды, кроме зала, слишком большого, чтобы факел в руках старика мог осветить его. Но факел опустился, коснувшись каменного желоба, и в нем вспыхнуло пламя, растеклось рекою, окружило зал.

– И потому боги вынуждены были оставить своих детей. Они скрылись в Бездне, а враги запечатали выход, надеясь тем самым лишить их сил...

...в школе эту историю рассказывают совсем иначе.

– Однако пусть врата и заперты, но не настолько, чтобы разорвалась связь. Некогда боги сотворили благословенную землю из плоти своей, наполнили ее кровью, а из костей вырезали тех, кого вы зовете масеуалле...

За чертою пламени скрывались демоны.

И лики их были уродливы, но Тельма нашла в себе силы заглянуть.

– Мы помним о том, что едины, что пока живы боги, жив и мир. И потому масеуалле кормят богов своей кровью.

Черная женщина с кривыми руками и огромным животом, из складок которого выглядывают летучие мыши. В пустые глазницы ее вставлены синие камни поразительной чистоты, и потому взгляд богини кажется живым.

– Идущая-в-Ночи. Она дает силу женщинам и лишает сил мужчин, если те забывают, что и мир вышел из женского лона...

Уродливый горбун с рогатой головой... и белокрылый змей, в пасти которого лежит окаменевший младенец... их осталось шестеро, Демонов Бездны, некогда владевших благословенным краем. И перед каждым старик останавливался.

Он кланялся.

И касался рассеченной рукой алтарного камня. Всего-то несколько капель крови, не жертва, но лишь приветствие.

Кровь уходила в камень.

Боги оживали.

Они смотрели на Тельму, именно на нее, призраком проникшей в чужую память, пусть и случилось это с дозволения Кохэна. И в глазах давно ушедших богов ей виделось... любопытство?

– Мою сестру избрала Та-что-осталась-без-Имени, – Кохэн теперь шептал. Оно и верно, как иначе? Разве в месте, где еще обретают боги, говорят в полный голос? – И дед был счастлив. Он был бы вдвое счастливей, если бы и меня удостоили высшей милости. Но... случилось так, что боги не взглянули на дрожащего мальчишку, который думал вовсе не о чести, а лишь о том, что желает жить. Мне столько лет внушали, что однажды я взойду на вершину пирамиды, возлягу на алтарь. А я боялся, девочка... я не желал этого, как желала моя сестра, но дрожал от одной мысли, что однажды мне вскроют живот и вытащат сердце, что швырнут его на золотое блюдо, а затем сожгут... я едва держался на ногах... а вот моя сестра... она светилась от счастья...

Девочка, тонкая и хрупкая, только вошедшая в пору своего девичества. Смуглая ее кожа, расписанная узорами, была лучшим одеянием для нежной ее красоты...

– На следующий день ее омыли в семи водах. И вновь расписали кожу, уже другими узорами. Это не просто рисунок, Тельма, а рассказ. О ее жизни, о нашей матери, отце. О бабке и дедке... о всех тех, кто был прежде. И только мне не было места на ее коже. Нет, мне позволили смотреть, но... тогда я понял, что все равно обречен. Кому в Атцлане нужен тот, от кого отвернулись боги? Тогда-то, кажется, я и решил бежать...

И заговорили барабаны.

Зло.

Осуждая труса.

Никчемное создание, с душой бледной, краденой будто, ибо у настоящего масеуалле она смугла и бесстрашна. Но пока существу, чья участь еще не была решена, однако, вне сомнений, незавидна, дозволено было присутствовать на празднестве.

И вновь весь Атцлан собрался у подножия пирамиды.

Женщины разрисовали лица охрой, а мужчины резали плечи и живот, добровольно отдавая кровь, чтобы путь в небеса той, которая вновь напоит силой остывающее тело города, был легок.

Она же всходила по ступеням легко.

И рубиновый венец на челе ее полыхал огненной короной.

...даже ущербность ее не бросалась в глаза.

– Она поцеловала меня на прощание. И сказала, что нечего бояться. Что смерть – это просто мгновение. Зато дальше мы будем жить вечно. Она и вправду в это верила, – Кохэн облизал пересохшие губы. – Я же... я солгал ей, что если так, то скоро мы увидимся... но уже тогда решил бежать. Правда, я не знал, как это сделать.

Он не позволил увидеть смерть.

Только пламя камней.

Только обсидиановый кривой клинок в старческой руке, достаточно крепкой, чтобы нанести удар.

Только сердце на золотом блюде...

– Ночью город праздновал. Ее смерть дала достаточно сил, чтобы прожить несколько лет... ее душа... я знаю, Тельма, что на самом деле им нужны вовсе не кровь и сердца. Они пожирают души, и эти души наполняют их силой. Чем ярче душа, тем больше сил. Моя сестра сама была огнем, пламенем, которое согрело Атцлан. Дед обронил, что, возможно,

еще в утробе она взяла и мою силу, в том нет моей вины, но нет и чести. Он оставил меня. Все оставили меня, праздную. Я же... я не знаю, как нашел выход из пирамиды, в которой жил. И прошел через город. Верно, этот город сам желал от меня избавиться. Я очнулся у стены, понимая, что нет такой силы, которая сумеет ее преодолеть...

Тьма, сгустившаяся, плотная, что камень, сама ставшая камнем.

Стена неразрушима, связана многими заклетьями. Она не пропустит никого, на ком лежит хотя бы тень богов.

– Тогда я сделал то, за что проклят. Я отрекся. От моих богов. От моих предков. От деда... и сестры, которая отдала жизнь во имя Атцлана. Я отрекся от самой своей крови. И был, наверное, искренен, если стена расступилась... я просто вышел.

Всего-то и понадобилось – шаг во тьму.

И забыть о пристальном взгляде, который сверлит спину. Кто бы ни смотрел, он останется в Атцлане навеки.

– Я не знал, что меня ждет, но надеялся, что хуже, чем дома, не будет. Просто шел, по дороге, потом испугался, что по следу моему могут выпустить охотников, и свернул в лес. Меня учили охотиться... смешно, никто давно не живет охотой, и лес Атцлана – такой же реликт, как и сам Атцлан, но охотиться все равно учили. И в настоящем лесу эти знаниягодились. Я шел две недели. И боги не спешили покарать отступника. Более того, я больше не слышал их... города не слышал... пустота... тишина... жизнь. Ты не понимаешь, что такое жизнь, которая дана просто так, без всякой платы. Я убил первого своего оленя. И искупался в реке. Рыбу поймал. Руками. Я ел сырое мясо, наслаждаясь вкусом его... а потом вышел к городу... там-то меня патруль и задержал.

Запыленного грязного мальчишку, слишком непохожего на других бродяг, чтобы просто отвесить ему оплеуху...

...да и не столько внешность его привлекла, сколько массивные браслеты на запястьях, широкая полоса ожерелья с красными камнями. Фигурки, вплетенные в волосы...

– Я оказал сопротивление. Не пожелал расстаться с золотом, за что и был бит. Меня обвинили в краже, в нападении на полицейского, и, возможно, вздернули бы... к чему оставлять свидетеля, но на счастье мое в городе оказался Мэйнфорд. Он-то и разобрался, в чем дело. Забрал меня... и золото...

– И началась твоя новая счастливая жизнь...

– Новая – это да, – Кохэн вытащил золотую сову с рубиновыми глазами. – А вот счастливая... я не знал вашего языка, ваших обычаев. Я не знал вообще ничего, но хватило ума понять, что Мэйнфорд – мой единственный шанс как-то устроиться. Он нанял учителей. Для начала. Затем устроил в школу. Не скажу, что я был счастлив. Я ведь рос, уверенный, что любое мое желание есть закон. А в первый же день меня прилюдно выпороли за неуважительное отношение к наставнику. Школа была частной и дорогой, но это не избавило меня от проблем. Напротив... дети из Первого округа... попадались даже сенаторские отпрыски... и какой-то масеуалле... учителя и те видели во мне животное. Меня не столько учили, сколько дрессировали. Я терпел... а когда мне становилось неважно, когда я начинал думать, что, быть может, лучше было бы остаться... смерть – всего лишь мгновение, я вспоминал богов... и то, что ныне меня не просто положат на алтарь... нет, с изменников снимают шкуру живьем. А затем, выпустив кишки, оставляют на солнце. И поверь, магия масеуалле позволяет сохранять им жизнь не на часы – на дни...

– А Мэйнфорд? – Тельме было несколько... неудобно, пожалуй. Откровенность? Пусть

так, это его выбор, но любая откровенность подразумевает ответный шаг, а Тельма не настолько расчувствовалась, чтобы выложить все как есть.

– Во-первых, он считал меня ребенком, а с детьми он никогда не умел ладить. Во-вторых, он полагал, что выполнил свою задачу. Школа ведь была хорошей. Дорогой. В-третьих, я сам не жаловался, гордость мешала. Потом случилась одна история, и я едва вновь не попал на виселицу. Но Мэйнфорд и здесь помог... многое всплыло... скажем так, его отношения с родней и без того непростые, еще больше осложнились. У меня же появилось с полдюжины высокопоставленных недругов. Впрочем, это не помешало мне пойти в полицию... собственно говоря, здесь я и работаю в последние семь лет...

– Рада за тебя.

– Я и сам за себя рад. – Он оскалился, коснулся ногтем рубина. – А это на память оставил... хотя и без того на нее не жалею. Так вот, девочка, к чему это я все...

И вправду, к чему?

Только ли затем, что эту вот историю можно преподнести иначе? И именно этого Кохэн опасается?

– Я чувю в тебе тайну. И не только тайну. Не знаю, чем тебе наш Мэйни не угодил, но он хороший человек. Даже если отрешиться от того, сколько раз он спасал мою шкуру. И поэтому, если в дурной твоей голове зародилась вдруг мысль напакостить Мэйни, подумай еще раз хорошенько. я не позволю ему навредить.

Он спрыгнул со стола.

– А еще оглянись... быть может, твои обиды – не более чем твои фантазии...

Мэйнфорд из конференц-зала вышел бодрым и злым.

Очень бодрым и очень злым.

Злости этой хватило, чтобы добраться до собственного кабинета, в котором уже поджидал Кохэн.

– Выпей, – он сунул в руки плошку с вонючей гадостью. И Мэйнфорд выпил: не было у него сил сопротивляться, напротив, появилась вялая надежда, что эта самая гадость успокоит раскаленные нервы, а то и вовсе погрузит Мэйнфорда в беспробудный сон недельки этак на три-четыре. И тем самым избавит от сомнительной радости объясняться с начальством...

...с Гарретом...

...надо бы позвонить, предупредить...

...братец придет в ярость... но с другой стороны, разве Мэйнфорд виноват, что семья не думает, кому продает акции?

Отпускало.

Травы ли были тому виной, – Мэйнфорд в очередной раз дал себе слово разобраться, наконец, что именно Кохэн выращивает в своей маленькой оранжерее – или же просто переутомление сказалось, но все вдруг стало неважным.

Акции... Вельма... стрельба... всегда стреляли. Гангстером больше, гангстером меньше – город сожрет всех, и самого Мэйнфорда в том числе. Рано или поздно доберется.

– Садись, – Кохэн толкнул в кресло. – И расслабься... тебе поспать нужно...

– Девчонка...

– Отвлек от работы, как и было велено...

Показалось, Кохэн недобро усмехнулся.

– Угрожал?

– Обижаешь. Когда это я угрожал женщинам? Предупредил. Она умненькая, поймет. Надеюсь, что поймет... чтица-то хорошая... заглянула, представляешь? Я не стал закрываться, а она заглянула...

– И не сбежала?

– Даже не стошнило. Откуда она взялась, Мэйни?

– Если интересно, возьми личное дело... – теплые ладони масеуалле сдавили виски. И значит, спать пора. Но нельзя. Не сейчас... то старое желание – это трусость. А на деле Мэйнфорд не может позволить себе сон. Слишком много всего... слишком мало его самого...

– Возьму, – послушно отозвался Кохэн, и голос его доносился издалека. – Ты знаешь, что она тебя ненавидит?

– Уже?

– Давно... у сов хорошая память и острые когти...

– Прекрати. Я не в настроении вникать в твою зоологию...

– Не вникай... поспи...

– Нельзя.

– Можно, – возразил Кохэн. – И нужно. Ты же сам понимаешь, что вот-вот свалишься. Часик подремлешь... не сопротивляйся... хочешь услышать море? Помнишь, ты меня отвез...

Мэйнфорд помнил.

Тогда у него, рядового малефика, было право на отпуск. И странное для посторонних желание провести этот отпуск не с семьей, но с мальчишкой-масеуалле, который только-только научился говорить на нормальном языке.

Море Мэйнфорд всегда любил.

Успокаивало.

И голос его заглушал иные, тогда еще слабые, позволявшие надеяться, что рождены они не городом, но собственным воображением Мэйнфорда. Так утверждала мать, отворачиваясь, чтобы скрыть разочарование – старший отпрыск древнего рода должен был быть идеален, а он слышит голоса. Какой конфуз! Не приведите Боги, узнает кто... и сохранения тайны ради – а в неполноценности Мэйнфорда она усматривала некий упрек свыше – она молчала.

Даже когда голоса стали невыносимы.

Даже когда...

Она жаловалась семейному врачу на мигрени и подсыпала в молоко снотворное. От снотворного становилось лишь хуже, но мать не желала слышать...

...а если бы Мэйнфорда сочли безумцем?

...разве ты не понимаешь, дорогой, какой ущерб это нанесет семье? Твоему брату? Нам с отцом? – Голос матери был слышен так, словно бы она стояла за спиной Мэйнфорда. – Просто потерпи, – матушка всегда говорила мягко, ласково даже, и было время, лет до восьми, когда Мэйнфорд обманывался этой мягкостью, принимая ее за любовь. – И все пройдет... я привезла лекарство... очень хорошее лекарство...

...откуда?

...из очередной лечебницы для душевнобольных, которую матушка в высочайшей милости своей взяла под крыло рода? Она платила щедро, и все полагали, что щедрость эта происходит от милосердия, а разве кто-то будет следить за столь милосердной дамой?

Заподозрит ее в воровстве?

Или усомнится, что матушка ее горничной и вправду нуждается в сильнейшем успокоительном?

...выпей, Мэйни, не капризничай... сегодня на приеме...

– Выпей, – это сказала уже не мать, но Кохэн.

Хорошо.

Ему Мэйнфорд доверяет несоизмеримо больше, пусть даже понятия не имеет, что именно он намешал. Главное, что смесь эта подарит немного тишины.

И Мэйнфорд глотает.

– Если позвонит...

– Не позвонит. Не дозвонится, – Кохэн подставил плечо. Он тощий, но жилистый, крепкий. Все равно надо встать. Ноги держат. Еще как-то держат... идут... куда? К дивану... старому продавленному дивану, после часового отдыха на котором спина разنوется.

– Если...

– Ничего не случится, Мэйни. Просто отдохни...

Мэйнфорд все же сел в иррациональной попытке избавиться от колдовского тумана масеуалле.

– Я должен...

– Отдохнуть ты должен, пока живой. А всем, кто будет спрашивать, я скажу, что ты на выезде.

– К-каком?

– Каком-нибудь... не важно. Давай уже, ложись. Мэйни, нельзя же быть таким упрямым. Я, между прочим, не всемогущ... поэтому расслабься... слушай море...

Серая вода.

Синяя.

И зеленая.

Главное, что свободная. Эта свобода, помнится, и восхитила Мэйнфорда, когда он впервые попал на море. Не на то, курортное, облагороженное, спеленутое полотнищами погодных заклиний, куда матушка выезжала ежегодно. Нет, то море не походило на море. Вечные двадцать пять градусов выше нуля. Синева. Легкие волны. Белый песок. Лежанки, дорожки, матушкины знакомые, с которыми следовало вести себя осмотрительно, если, конечно, Мэйнфорд не желает, чтобы о нем пошли слухи...

...другое море.

Старые скалы, подернутые зеленью водорослей. К полудню они просыхали, и покрывались белесой пленкой соли, а к ночи вода поднималась, все выше и выше, точно желая добраться до древнего замка. Стереть его. А он был слишком горд и самоуверен, чтобы замечать опасность.

Рог Безумца не боялся ни северных ветров, ни бурь.

– И тебе бояться нечего, мальчик. – Дед спустился из башни, в которую Мэйнфорду входить было запрещено. – Во все ты не сумасшедший. А твоя мамаша, уж прости, дура.

Дед носил трубку, которую набивал дешевым табаком.

Он был стар и не стыдился прожитых лет. Он не спешил убирать морщины, восстанавливать волосы или хотя бы, – матушку это неизменно огорчало – избавляться от повязки на глазу. Современная медицина глаз вернуть не смогла бы, но вот вставить стеклянный, качественный, почти неотличимый от настоящего... а повязка – это не только уродливо, но и вызывающе.

Почему-то, глядя на деда, Мэйнфорд не мог представить его себе со стеклянным глазом. А черный бархат, истершийся, сроднившейся с темной морщинистой кожей, был естественен, как и двойная жемчужная серьга в ухе. Или кривоватые зубы, прокуренные даже не до желтизны – до цвета бурого, отчего казались они вырезанными из дерева.

Дед носил старомодные дублеты с рукавами, набитыми ватином, рубашки из тонкого шелка и многослойные кружевные воротники. Он прожил без малого три сотни лет, и полагал, что это дает ему право на некоторые причуды.

– Слушай море, малыш. Когда будет становиться невмоготу, слушай море. – Дед протянул причудливую раковину, сам прижал ее к уху Мэйнфорда. – А мамаше своей, если сунется со своими таблетками, вели засунуть их в жопу.

– В чью?

– Того осла, который их выписал. – Дед хохотнул. Он курил в гостиной, не задумываясь о том, что для курения существуют курительные комнаты, а в гостиных пьют чай. Чай он вовсе не признавал, предпочитая дешевый ром, хотя в подвалах – Мэйнфорд самолично спускался в них – имелось вполне приличное вино. Более того, подвалы эти с содержимым их – винные бочки занимали лишь малую часть древнего лабиринта – являлись очередным камнем преткновения между матушкиными желаниями и дедовым стремлением оставить все как оно есть.

– Слушай, малыш... отдыхай... а как вернешься, то помни... ты не сумасшедший, ты просто проклят...

– Кем?

Странно, но шум морской раковины, прижатой к уху, успокаивал. От этой раковины тянуло прохладой, пахло солью и йодом, морем.

А голоса молчали.

Они, не оставлявшие Мэйнфорда в покое ни на мгновение, вдруг исчезли, растворились в мерном рокоте волн.

– Теми, кто владел этой землей до нас... – дед присел в низкое кресло и ноги закинул на столик, нисколько не заботясь о том, что сапоги его грязны, а столик, инкрустированный вишней и слоновой костью, разменял не одну сотню лет. – Твоя матушка рассказывала тебе, откуда пошел наш род? Рассказывала. Она этим гордится. Что сделаешь, в мать свою пошла... тоже красавицей была невероятной, но дура душой. Нечем тут гордиться. Благородный дон Альваро вовсе не был благороден... ублюдок, каких мало... альв, но и свои его причуд не выдержали. Знатный малефик, это да... потому и не вздернули сразу, хотя было за что. Тогда ему предложили, как нынче модно выражаться, альтернативу. Он и решил, что виселица – это конкретно и скоро, чего не скажешь о путешествии. Пусть к краю мира, но до этого края еще добраться надо. Если хочешь, дам почитать мемуары...

Мэйнфорд не хотел.

Он слушал море. Он наслаждался шепотом его, и воем ветра, который, разойдясь к полуночи, терся о шершавые каменные бока крепости.

– Тебе будет полезно. На склоне жизни дон Альваро сделался задумчив и многословен. Он много писал. И многое, из того, что написано, разнится с официальной версией... Освобождения. Он даже решил быть по-своему честным. Признался, что в пути собирался поднять бунт, и не только он, но дон Кортесо на беду команды оказался еще более серьезным малефиком... может, потому и получилось у них добраться до Зеленого мыса? А там и дальше... они пришли как гости. И встречали их как гостей. У масеуалле имелось одно предсказание об ушедшем боге, и Кортесе в сиянии своей силы... он велел покрыть корабль позолотой и надел золоченый доспех. Он вывел на берег белого жеребца, к седлу которого приделал крылья. И те, кто вышел встречать его, уверились, что встречают бога...

Море шептало.

Оно могло рассказать собственную историю. Сотню историй. Тысячу. Столько, сколько хранилось на дне его исчезнувших кораблей, мертвых людей и утонувших тайн.

– Дон Кортесе и те, кто согласился принести ему клятву, прошли до самого сердца земель масеуалле. Они поняли, что земли эти богаты, а люди – слабы. И не только в слабости дело. Их всех, чимеков, таупелле, каюте, держит страх. Они пребывали в уверенности, что боги масеуалле всемогущи, а Кортесе сумел разрушить эту уверенность. Он взял в плен императора, а после, во время великого празднества, принес чужим богам богатую жертву. И те не покарали отступника, но приняли пролитую кровь своих детей как должное... да, Кортесе пришлось бежать из Атцлана, но он вернулся и не один, с сотнями и тысячами тех, кто еще недавно верил, будто бы нет силы, способной низвергнуть Проклятых. Наш предок описывает их путь, Мэйнфорд. И кровь, которая заливала его... отнюдь не кровь воинов масеуалле... и то, как Кортесе заключил мир, скрепив его клятвой на кресте и тернии, и пятеро поручились за нее своими судьбами. Он обещал оставить Атцлану свободу, если новый император присягнет на верность Короне, но когда тот явился дать клятву, то пленил... и пытал...

Море пело.

Оно звало Мэйнфорда, обещая, что в глубинах его он отыщет покой. Разве не покоя желает сам Мэйни?

– Дону Кортеше не было дела до богов и до жертв, которыми они кормились. Он желал золота, которым был полон Атцлан, и получил его. А получив, велел удавить ненужного императора и жен его. А малолетнего сына оставил, ибо масеуалле не желали покоряться людям с белой кожей. Им нужен был император. Кортеше предоставил его, а себя назначил наместником. Тогда он не понимал, не желал понимать, что его вера не защитит клятвоотступника. И пусть боги масеуалле вынуждены были покинуть мир, но нарушенная клятва оставила лазейку. Шесть лазеек. Наш благородный предок пишет, что начал слышать голоса уже на склоне лет, после того, как дон Кортеше сошел с ума... и иные его подвижники... они не оставили наследников, что было весьма мудро с их стороны. А вот дон Альваро обзавелся супругой, и не простой. Она приходилась родной сестрой императору. И вряд ли желала этого брака, но выбора не имела. Она родила сына, а после умерла. Дон Альваро женился еще трижды, на женщинах из Старого Света, благородных кровей и малого достатка, готовых на многое во имя семьи. Все трое... не вынесли перемены климата, – дед выдохнул сизый клубок дыма. – Из пятерых детей, что появлялись на свет, лишь один прожил больше месяца...

Море пело.

О том, что прошлое не имеет смысла, равно как и будущее. Что ждет Мэйнфорда? Венец пэра и место в партии? Мешок шерсти с монограммой – почетной данью прошлому? Высший Совет собирается раз в десятилетие и давно уже эти собрания ничего не решают. Конечно, Мэйнфорд слишком мал, чтобы разбираться в политике, но не глуп.

Матушка гордится принадлежностью к избранным.

И свой венец носит так, будто бы он – легендарная корона из Ивовых ветвей. Она готовится к каждому собранию, пусть женщин и не допускают в Дубовые палаты, но им и не нужно. Что им делать среди пыльной шерсти и табака, который традиционно сыплют под ноги? Для них созданы уютные гостиные и Белый зал с Белым же балом.

...раз в десять лет...

...величайшее событие...

...хранители памяти...

Море смеялось, рокотало, и волны, рожденные смехом, разбивались о камень.

– В конце концов, благородный дон Альваро был вынужден смириться и признать наследником полукровку. Тот, к сожалению, дневников не вел. Вообще был личностью нелюдимой, что, учитывая происхождение, понятно. Он взял в жены женщину-масеуалле, и это, полагаю, вызвало скандал... а вот их сын...

...цепь, сплетенная кровью. Цепь, длиной в столетия, и он, Мэйнфорд, последнее из ее звеньев. Или нет, есть еще Гаррет.

Он нормален.

Он именно таков, каким должен быть отпрыск столь славного и древнего рода...

– И вот тут, сынок, складывается интересная закономерность. Род Альваро не прерывался, но... если в нем рождалось более одного ребенка, старший... становился одержим.

– Значит, я сумасшедший? – Мэйнфорд отложил раковину. Не без сожаления, конечно, ему не хотелось расставаться с голосом моря, но он давно привык делать то, что было принято.

А в обществе не принято ходить с раковинной, прижатой к уху.

– Ты меня слушал? – Дед не злился, он перевернул трубку и постучал по доньшку, вытряхивая табачный пепел. – Проклят. Одержим. С сумасшествием это не имеет ничего общего.

– Мать...

– Все прекрасно знает. Мы с ней разговаривали, но она слишком заостенела в своем высшем свете.

Это дед произнес, точно плюнул. Потом вздохнул.

– Знаешь, почему ты здесь?

– Потому что вы пожелали меня видеть.

– Я давно желал тебя видеть, – старик повертел трубку и с раздражением швырнул ее на стол. – Но мои желания давно уже перестали что-либо значить для твоей матери, однако...

Скрюченные пальцы.

И сама рука, торчащая из вороха кружев, походила на высушенную куриную лапу. Вот только вряд ли куры носили перстни с черными алмазами.

– То, что я скажу, Мэйни, непросто принять и взрослому.

– Мама хочет сдать меня в сумасшедший дом?

– Знаешь?

Мэйнфорд пожал плечами.

В этом не было тайны, во всяком случае, не такой, которую стали бы скрывать от слуг, а слуги... слуги всегда знали чуть больше, чем полагали хозяева.

– Она называет это санаторной лечебницей, – теперь дед позволил раздражению выплеснуться, и камень в перстне полыхнул. – Но ты прав, малыш, сумасшедший дом, он сумасшедший дом и есть, как его ни назови.

– Это потому, что я... слышу голоса?

– Это потому, что ты старший. И по праву рождения наследуешь не только титул, но и семейное состояние. погоди, – дед поднял руку. – Так было заведено. Твоя сестра получит неплохое содержание, а когда вздумает выйти замуж – и приданое. Твой братец... ему тоже достанется кусок семейного пирога, но твоя матушка решила, что это несправедливо.

Она всегда любила Гаррета больше других своих детей.

И наверное, он был достоин этой любви. Он был идеален, золотоволосый малыш с синими очами, которые очаровали не только матушку. Вокруг Гаррета женщины вились, что няньки, что гувернантки, и даже миз Острикс, сухопарая наставница, которая, казалось, не умела улыбаться, таяла от умиления...

Гаррет никогда не капризничал.

Был вежлив. Почтителен со старшими. Мил со слугами. Он оправдывал ожидания и не имел никаких... странностей.

Из него, в отличие от Мэйнфорда, получился бы достойный пэр.

– Если тебя признают невменяемым, то лишат права наследования. Тогда и титул, и семейное состояние отойдут к этому лицемерному засранцу.

А вот дед Гаррета не любил, не давая себе труда скрывать эту совершенно беспричинную нелюбовь.

– А я?

– А ты... в лучшем случае отправишься в дальнее поместье. В худшем, но наиболее вероятном, никогда не выйдешь из лечебницы.

Он замолчал, позволяя Мэйнфорду оценить ситуацию.

В лечебнице.

Никогда не выйти.

Мама выберет лучшую из лечебниц, она по-своему заботится о Мэйнфорде, но... навсегда? Вот так... из-за голосов...

– Послушай, мальчик. Твой отец не совсем согласен, но он слишком слаб, чтобы противостоять матушке. Все, на что его хватило, – отправить тебя... в гости к умирающему старику.

– А вы умираете?

– Последние лет двадцать. – Дед ослабился. – Но не суть важно. Главное, что когда твоя мамаша прознает, куда ты подевался, она явится.

– И что мне делать?

– Нам, Мэйни... что делать нам... скажи, ты не боишься умереть?

Это было безумием.

Но если Мэйнфорд и без того сходил с ума? Или был одержим, проклят. Не важно, главное, что его мать не сочла возможным позволить ему остаться среди людей.

– Нет, – ответил Мэйнфорд. И потянулся к раковине. Быть может, дед и прав. Или не он, но море, с которым дед успел сродниться, главное, что всего-то шаг в свинцовую бездну, и все проблемы исчезнут.

– Вот и хорошо... если у нас получится...

...путь вниз.

В подвалы и ниже подвалов, и лестница меняется. Исчезают дубовые ступени, сменяясь серым камнем. Он груб, неровен, и подсвечник в руке деда опасно покачивается. Мэйнфорду кажется, что дед этот подсвечник не удержит, и тот полетит со звоном в бездну, и свечи с ними, и они вдвоем останутся в темноте. Нет, Мэйнфорд не боится. Напротив, ему спокойно, как никогда прежде.

И чем ниже они спускаются, тем спокойней.

– У твоей матери был брат... старший... хороший мальчик... на тебя похож... – Голос деда вязнет в камне, и кажется, что дед говорит шепотом, хотя это не так. – Я не особо верил в проклятие. Я был единственным ребенком, как и мой отец, и мой дед. И честно говоря, я не думал заводить еще детей... как-то не принято это было в роду, но так уж получилось. Родилась твоя мать. А спустя полгода Барри начал жаловаться на кошмары...

Виток за витком.

И камень под ладонью влажный, от него пахнет солью, и Мэйнфорд ощущает близость моря.

– Потом были голоса и видения. И твоя бабка пригласила целителя... затем целителей стало больше, чем слуг в нашем доме, но никто не мог сказать, что происходит с Барри. Его поили опиумным настоем, который слегка приглушал голоса, но я видел, что опиум лишает Барри остатков разума. И не было выхода... нам казалось, что не было, пока один старик не сказал, что дело не в болезни, что это проклятие пожирает душу Барри...

Стены были неровными. И Мэйнфорд пальцами ощущал, что неровность их – искусственного происхождения, что она неслучайна, как неслучайно его пребывание здесь.

– Барри покончил с собой, когда ему исполнилось шестнадцать. При нем неотлучно находились трое... компаньонов. Он и в уборной не оставался один, но... все равно сумел. Стекла битого наглotalся. Он умирал долго, Мэйнфорд. Мучительно. Но при этом смеялся,

говоря, что там уж не услышит голосов, что теперь-то город оставит его в покое...

...рисунок...

...не неровности, но узор, древний, как само это место.

...куда древнее деда или же старого замка, который слишком мал и неказист, чтобы жить в нем, но слишком знаменит, чтобы просто отречься.

– Твоей матери было восемь. Она помнит брата, хотя предпочитает делать вид, что никогда его не было. И возможно, она боится, что ты повторишь его путь.

Мэйнфорд не ответил.

Битое стекло?

Нет, не стоит дожидаться, пока к нему приставят компаньонов, охраняющих Мэйнфорда от него же самого. Надо успеть раньше, до того, как его безумие или проклятие – так ли важно? – станет слишком заметным.

– Тогда-то я и увлекся историей рода Альваро. Искал. Покупал старые книги, дневники... я даже приобрел плетения масеуалле, а с ними и старика-хранителя, который не побоялся бежать из Атцлана. Вот он-то и рассказал кое-что любопытное...

Лестница закончилась.

Не было ни двери, оббитой железом, ни сотни запоров, но лишь комнатка с низким потолком. Мэйнфорду и то пришлось согнуться.

– Масеуалле были сотворены из божественной крови, смешанной с пеплом первых людей, грязью мира и прочим дерьмом.

В нем не было ни толики почтительности к малым народностям, отстаившим право на собственную жизнь и веру, пусть и в пределах резервации. Про народности говорил отец, готовясь к выступлению в Сенате. И мама часто упоминала, собирая очередной благотворительный комитет.

– ...главное, что порой эта божественная кровь оживает...

Пламя свечей скользило по обожженному потолку, стирая остатки рисунков. И Мэйнфорд гладил этот потолок, почему-то невероятно важным казалось понять, что именно изображено.

...люди.

...звери.

...чудовища, которые не люди и не звери.

...еще немного, и он вспомнит их имена.

...еще чуть-чуть, и он станет одним из них.

– Масеуалле чтили тех, кто способен был слышать голос богов. Они становились жрецами. Или императорами.

– И где моя корона?

– В Атцлане, – ответил дед. – А трон... вот твой трон...

Еще один камень.

Обломок? Осколок? Часть его гладка, отполирована, и в этом каменном зеркале Мэйнфорд видит искаженное отражение себя самого. Его тянет к камню с неудержимой силой, и не способный противостоять ей, Мэйнфорд идет.

Касается.

Его не пугают ни холод, ни острые грани разлома, которые вскрывают ладонь сотней ножей. Это кажется правильным, единственно возможным.

– Этот камень – часть алтаря, на котором императоры масеуалле восходили к богам. Так

это называлось. Раздевайся.

У Мэйнфорда не возникло и тени сомнения. Он раздевался быстро, так быстро, как мог, раздражаясь, что одежды на нем было слишком много.

– И только тот, кто находил в себе силы вернуться, получал право повелевать своей кровью. И народом масеуалле...

Теперь голос деда доносился издали, сквозь шум прибоя, сквозь голоса, которые ожили, оглушили воем, хором...

...ты наш...

...нет...

...наш, наш, наш...

...нет.

Мэйнфорд лег на камень, и острые грани впились в спину, он почувствовал, как ледяные иглы пронзают все его тело. Было больно, так больно, как никогда прежде, но ныне эта боль доставляла невыразимое наслаждение.

...наш... иди... к нам иди... слышишь...

– Нет, – он сумел сказать это, прежде чем обсидиановый клинок пробил грудь.

...и голоса смолкли.

...а боль отступила. Стало так хорошо...

Сон истончился, и появилась даже мысль, что Кохэн, убудок этакий, нарочно отправил Мэйнфорда именно в этот сон, а потом эта же мысль показалась нелепой. Масеуалле не способен управлять чужими снами.

Или мыслями.

Он такой же калека, как и сам Мэйнфорд, и его сила, точнее остатки ее, его же проклятие. Потом стало не до Кохэна. Стерлось имя, и запах трав, сквозь который пробивался аромат дрянного кофе. Зато вновь заговорило море.

Оно звало.

Сменив равнодушие на милость, шептало, что рано еще Мэйнфорду уходить дорогой Птиц, что тело его, отягощенное многими поколениями чужой крови, не насытит землю, а пробитое сердце – вовсе не тот дар, который солнце готово принять.

И значит, надо вернуться.

Он видел это море, серое, слепленное из многих лиц, и все они были безглазы. Но рты шептали:

– Вернись.

Он видел черную иглу скал.

И замок на ее вершине.

И стеклянный ветер, который замок заворачивал в хрупкие шали собственных крыльев.

И в шелесте их вновь слышалось повелительное:

– Вернись.

Он видел и башню, и старика, древнего, но не настолько, чтобы древностью этой восхитились и море, и ветер. Старик стоял у окна, опираясь на трость, и на руке его, плененный камнем, сиял огонь. И он тоже говорил:

– Вернись.

Огонь манил.

И Мэйнфорд потянулся к нему, и к старику, с которым ощущал странное родство. Он хотел просто коснуться, но упал, провалился в яму собственного тела...

Задохнулся от боли.

Задыхался.

Закричал. Закричал бы, но из горла вырвался сип... тело жило... странно, что жило, он ведь умер. Мэйнфорд знал это совершенно точно, однако знание не мешало ему ощущать и боль, и неудобство в затекшей ноге, и жажду, и желание иное, противоположного свойства.

– Ну, здравствуй, Мэйни, – сказал старик, положив на голову руку, которая показалась тяжелой и горячей, словно сама она была соткана из пламени. – Я уж начал опасаться, что ты не вернешься...

– Я...

Мэйнфорд пил не воду – ром, крепкий, слишком крепкий для мальчишки тринадцати лет, но это был единственно верный напиток.

– Я... здесь...

– Здесь.

– И... что теперь?

– Посмотрим, – ответил дед.

Кохэн притворил за собой дверь. И встал перед ней охраной.

– Что там? – Тельме не было любопытно, почти не было, но и слабой тени своего любопытства она с легкостью нашла объяснение.

Ей следует узнать о Мэйнфорде как можно больше.

Информация – то же оружие.

– Ничего. Отправляйся домой, уже поздно. Отдохни...

– А он?

– И он отдохнет. Если получится. – Масеуалле не улыбался, он выглядел уставшим.

Плевать.

Все устали.

И Тельме, если разобраться, отдых жизненно необходим. Вот только может ли она позволить его себе? Ей бы с вещами закончить. В чистой комнате осталось еще с полдюжины предметов. И тот же Мэйнфорд наверняка разозлится, если Тельма бросит их до утра, а то и вовсе ухватится за предлог, выставит, сославшись на профессиональную некомпетентность...

– Я... пожалуй...

– Езжай домой, – покачал головой масеуалле. – Никому не пойдет на пользу, если ты доведешь себя до предела. С меня одного болезного хватит.

И Тельма решила не спорить.

Домой.

Она действительно устала.

От чужой памяти, которая и не память даже – ворох истлевших газетных вырезок, готовых рассыпаться пеплом при малейшем прикосновении, открытки с истершимся рисунком, тени запахов, призраки людей, которых, быть может, удастся опознать...

Но это не ее работа.

И хватит думать за других, но не думать не получается. И хуже всего – приторное, искусственное ощущение счастья, которое приклеилось к каждому предмету, заглушая иные его сути. Тельме приходилось пробиваться сквозь это счастье, воспринимавшееся вязким розовым киселем.

Никогда-то она кисели не любила.

И теперь ощущение прилипло. Оно держалось на языке назойливым привкусом псевдокофейного напитка, который делали из желудей и корней цикория, а после, смешав со жженым сахаром, разливали по бумажным стаканам.

Медяк за один.

Лучшее средство согреться. И покупали. Сама же Тельма покупала утром. И еще, кажется, в обед приносили такой же стакан и черствый пончик, но пончик в горло не полез, а кофе она выпила. Во время работы зверски хотелось пить. И сейчас жажда навалилась вместе с усталостью, а следом – и знакомое чувство беспомощности. Что бы ни было, это уже произошло, а изменить произошедшее не в силах Тельмы.

Ее удел – читать.

Наверное, она задумалась, что бывало с ней не так уж редко, если не заметила, как добрела до остановки. И только там, на пустой промокшей скамье очнулась, огляделась.

И правда поздно.

Темно.

Единственный фонарь слегка развеивает темноту, и в свете его видна серая дорога, сам столб с железной табличкой, правда, расписание стерлось, поэтому остается только ждать. Ждать Тельма умеет.

Она села на мокрую лавку, подняла воротник плаща. Надо будет зонт купить.

И ботинки приличные.

Или хотя бы крепкие, чтобы не промокали.

– Доброго вам вечера.

Человек вынырнул из пелены дождя.

– Давно ждете?

И сам себе ответил:

– Давно... неужели в управлении не нашлось свободной машины? Хотите, я вас подвезу?

Мне не сложно.

– Не хочу.

Тельма разглядывала человека не потому, что особа его была ей хоть сколько бы интересна, скорее уж больше здесь смотреть было не на что. Не на столб же ей пялиться, в самом-то деле. Но он, самовлюбленный, решил иначе.

– Боитесь, что ваше начальство не одобрит... подобного рода контакты?

Тельма пожала плечами.

– Разрешите, я присяду?

– Нет.

– И все-таки присяду. Лавочка, уж извините, в муниципальной собственности находится.

Он сел близко, пожалуй, слишком близко. И Тельме отодвинуться бы, а лучше бы встать и уйти. Одобрит Мэйнфорд или нет, но близкое знакомство с Джаннером не входило в собственные планы Тельмы. От этого человека отчетливо несло падалью, и даже дождь не был способен избавить его от этой вони.

Тельма поморщилась.

И что делать?

Уйти?

До следующей остановки пара кварталов, да и Джаннер, похоже, всерьез настроен на беседу, не отпустит так просто.

– Не возражаете?

Он вытащил портсигар. Золотой. С камнями. А зажигалка дешевая.

– Постоянно теряю, – пожаловался он. – Знаете... а у нас с вами много общего. Я вот тоже не люблю назойливых людей. Но сами понимаете, порой приходится переступить рамки... профессия требует...

Тельма молчала.

– Я, к слову, тоже не всегда был состоятелен... сирота... и все, чего добился, я добился собственным трудом, пусть не все способны этот труд оценить.

А табак был хорош. Терпкий. Со сладковатым ароматом, с толикой перчинки и шоколада. Знакомый сорт, и память услужливо подсказала: именно такой предпочитал Тедди, мамин агент. А вот мистер Найтли покупал самый дешевый, кислый.

Он жив еще, не табак, а мистер Найтли.

И обретаётся по прежнему адресу, хотя давно мог бы переселиться на Остров. Он известен, если не сказать – знаменит. Захочет ли встретиться с Тельмой? Впрочем, она сама еще не решила, нужна ли ей подобная встреча.

– Правда, с приютом мне повезло. Дар открылся рано... – Джаннер выразительно замолчал, позволяя Тельме оценить степень своей информированности.

Значит, личное дело читал. Или краткую справку. И кто сдал? Кто-нибудь. Управление большое, и помимо Мэйнфорда в нем изрядно народу.

– Вы были лучшей в выпуске. Первый уровень. Огромный потенциал. Огромный выбор... и вдруг затрапезный полицейский участок. Почему?

– Хочу нести пользу людям, – Тельма стряхнула воду с рукава.

Свитер промок.

И майка под ним. И хорошо, если Сандра уже вернулась. Она посочувствует и нальет чаю, поставит на стол банку с липовым медом, а главное, станет говорить, о всякой ерунде щебетать, но ее щебет согреет Тельму лучше чая с медом.

Она обещала Сандре купить муки, но бакалея наверняка закрыта... еще сахару бы надо, и чаю с полфунта, потому как закончился. Значит, выйти придется за две остановки от дома, там на углу супермаркет, который работает до полуночи. Цены, конечно, завышены, но Тельма сама виновата.

– Знаете... в вашем личном деле многое... непонятно. – Джаннер выбросил сигарету. – Отец неизвестен... мать – некая Нэнси Н., эмигрантка последней волны...

Он вновь замолчал, уставился. Думает, зацепить ее взглядом? Забавно... нет, репортер его уровня на многое способен, но... и вправду смешно.

– Вам было девять, когда она умерла... печально...

Печали он не чувствовал, вообще ничего не чувствовал, любопытство и то было вялым. Она, Тельма, Джаннеру сама по себе была не интересна.

– Наверное, тяжело вот так. Вы были слишком взрослой, чтобы забыть прошлое, приспособиться...

Теперь он говорил мягко, и если бы Тельма была обыкновенным человеком, наверное, приняла бы мягкость за сочувствие.

Понимание.

Понимающим людям хочется открыться.

Это не воздействие, не то, во всяком случае, воздействие, которое можно отнести к разряду запрещенных. Джаннер знает закон и не намерен его нарушать, не ради девочки-Тельмы, слишком молодой и глупой по его мнению, чтобы увидеть правду.

– Вы много болели... несколько раз едва не погибли... как вам удалось уцелеть на Джан-хилл? Та история с черной лихорадкой в свое время наделала шуму...

– Что вам нужно?

– Информация. – Джаннер вытащил еще одну сигарету. – Будете?

– Нет.

– Как хотите. У вас именно тогда дар проявился? Будем считать, что тогда... и вы попали в школу. После Джан-хилл, наверное, она показалась раем. И вы чувствовали благодарность к людям, которые сочли вас этого рая достойной, а все последующие годы в вас эту благодарность старательно возвращали...

Интересно, неужели он сам не замечает, сколь самолюбив?

Самоуверен?

Глуп?

– И ваш якобы добровольный выбор... скажите, на него повлияла директор школы? Не напрямую, полагаю, но она вложила в вашу голову мысль о долге перед обществом? О том, что долг этот надлежит отдавать именно здесь?

Он взмахнул рукой, рассекая пелену дождя.

– Вы знали, что она – родная сестра вашего непосредственного начальника? И что без ее помощи он никогда бы не получил специалиста вашего уровня. Лучшее, на что мог бы рассчитывать Мэйнфорд – середнячок с задатками, а то и вовсе... заявок всегда больше, чем свободных чтецов. Вас использовали, Тельма...

– Спасибо, что открыли мне глаза. – Она не стала скрывать издевку. – И что дальше? Я должна разочароваться во всем? Разозлиться? И проникнуться благодарностью к единственному человеку, который был со мной честен?

– Неплохо бы. – Джаннер вовсе не выглядел смущенным или разочарованным. – Но я рассчитывал не столько на благодарность, сколько на взаимовыгодное сотрудничество.

– Зря.

– Подумайте. – Он осклабился и подвинулся еще ближе. – У меня много знакомых. Я могу помочь вам устроиться в городе, неплохо устроиться. Переберетесь из того клоповника, в котором ныне обитаете в приличную квартиру. Одежды себе прикупите. Да и деньги лишними не будут...

– Уходите.

– Слишком честны? Или горды? Зря. Гордость еще никому не помогала в жизни. Надо быть гибче...

Тельма встала.

Хотела встать, но Джаннер вцепился в руку, стиснул, показывая, насколько он сильнее...

– Мы еще не закончили, милая девочка...

– Отпустите.

– Отпущу, конечно, отпущу, но... дорогая, подумайте хорошенько. Со мной лучше дружить. В противном случае, я могу крепко испортить жизнь. А мне бы не хотелось доставлять неприятности такой... милой особе.

Его лицо – белое пятно.

Нос.

Рот искривившийся. Джаннер еще что-то говорит, брызжа слюной... а Тельма смотрит в глаза. Какие они у него... глубоко запавшие, будто кто-то взял и вдавил глазные яблоки в череп Джаннера. И зрачки дрожат пламенем свечи...

– ...у тебя ведь есть тайна? У всех есть тайны...

...от этой свечи пахнет травкой, отчетливо так, терпко...

– У меня на тайны особый нюх...

...травка нюх отбивает напрочь, но Джаннеру все равно. Он счастлив...

– ...девочка, которая попала в приют взрослой... кто-то хорошенько подчистил твое личное дело...

...Тельма не знала, кто именно, но была искренне благодарна этому человеку, который проделал за нее ее же работу.

– ...но кое-что упустили... убрали копию твоей метрики, потерялась якобы... фамилия матери неизвестна, однако по логике ты должна была ее помнить...

...Нюрхард. Нэнси Нюрхард, слишком неблагозвучно для Бельвери-стрит.

– ...тогда почему ее не восстановили с твоих слов? А свидетельство о смерти? Копия протокола? Направление? Все бумаги вдруг исчезли... куда?

Тельме тоже хотелось это знать.

– Тебя спрятали, деточка... от кого? Но убрали не все, далеко не все... к примеру, остался акт приемки твоих личных вещей... интересная бумага... чулки из альвийского шелка... нижняя рубашка из него же... домашнее платье с меткой «Альхаро»... ты знаешь, сколько стоит такое платье?

Больше, чем Тельма получит за месяц, а то и за два.

– Конечно... вязаное пальто с опушкой...

...там почему-то забыли упомянуть золотые серьги с топазами, цепочку и лилию-кулон. Заставили снять, уверяя, что на дезинфекцию, а после отдадут. Естественно, не отдали. Тельма была столь наивна, что потребовала вернуть, полицией угрожала...

И впервые оказалась в карцере.

Нет, это называлось комнатой для раздумий, но по сути своей являлось именно карцером.

– Интересный перечень, неправда ли? В сумме вещички потянут на сотню талеров... откуда у бедной эмигрантки такое состояние? А если она была не бедной, то... почему ты оказалась в такой дыре?

И об этом Тельма тоже спросит.

Когда доберется до Гаррета. А она доберется.

– И вот мне очень интересно, кто ты такая? – Джаннер сжал руку, вывернул, сам же подался вперед, уперся лбом в лоб Тельмы, заглянул в глаза. Он привык к тому, что сильнее.

И к страху чужому.

И к тому, что сила его, которую Тельма ощущала клубком смрадного дыма, спасет... не спасет... не от Тельмы... он сам виноват.

– А ты? – тихо спросила она, вдыхая кисловатый запах его тела, – кто ты таков?

Она нырнула в зыбкое пламя его зрачков, сквозь травяной дурман.

...иди ко мне, малыш...

Женщина развалилась на кровати, она была не той, кого Тельма ожидала бы увидеть. И открытие внезапное не поразило, скорее рассмешило.

Выходит, и на солнце бывают пятна?

...иди же, ближе... обними мамочку...

А ведь без одежды она еще более некрасива. Плоска. Угловата. И дорогое белье лишь подчеркивает дряблую белесую кожу.

...ты же не хочешь меня разочаровать?

Черная плетка змеею обвивает ее запястье. А вот лицо скрыто за кожаной маской. Предосторожность? Глупо. Ее легко узнать, несмотря на маску.

...кто у нас такой непослушный?

Джаннер... нет, здесь у него нет имени, здесь он всего лишь раб у ног госпожи. И ныне, исполняя ее, он ползет, задыхаясь от отвращения к себе, к этой женщине, которая получила слишком много власти. А он, глупец, когда-то думал, что сумеет урвать и свой кусок.

Плетка, взвизгнув, опускается на голые плечи.

Боль опалает.

И разрывает контакт.

Почти.

...ты забываешься, малыш... – Голос женщины доносится издалека. – Без меня ты – никто. Помни... я дала тебе силу... я могу и забрать ее...

Этот голос тонет в дожде.

И Джаннер, отшатнувшись, оттолкнув Тельму – спиной она впечаталась в ржавый столб, – пятится.

– Ты... ты не имела права! – Он вытирает лицо рукавом, а изо рта текут слюни. – Ты не имела права... я буду жаловаться... я в суд подам... это незаконно...

– Неужели?

Тельма отряхнулась. Столб? Синяк останется. Гаденыш на удивление силен, но ничего, Тельма потерпит.

– Разве я тебя касалась? Напротив, я просила отпустить меня, но ты проявил настойчивость. Испугал... а сильный стресс, как ты, наверное, знаешь, ведет к спонтанным выплескам.

– Ты... ты... – Он все же быстро опомнился. – Ты соображаешь, куда ты полезла?

– Тебе же нравятся тайны. – Тельма шагнула к нему, и Джаннер отпрянул. – Почему ты думаешь, что только тебе они нравятся? Скажи... эта твоя... маленькая тайна... она понравится твоим коллегам? И сколько они заплатят, чтобы узнать ее? Какой скандал... ладно ты, но она не простит, если правда выплывет наружу... не простит.

– Ты... не посмеешь!

– Почему?

Его страх ощущался острым запахом пота, табака и мятных драже, которыми он пытался улучшить запах изо рта.

– Это... незаконно...

– Информация получена в частном порядке. – Тельма отряхнулась. – Я имею полное право распоряжаться ею по своему усмотрению. А если вздумаешь жаловаться, я потребую глубокое сканирование. Неприятная процедура, но в моем положении к ней привыкаешь.

– Ты...

– Убирайся, Джаннер. – Тельма облизала воду с губ. – И сделай так, чтобы больше не попадаться на моем пути. Ты ведь не хочешь сесть за попытку подкупа служебного лица? Или за использование для того закрытых данных? Как ты думаешь, Мэйнфорд, если ему намекнуть... воспользуется ли он таким шансом?

[Купить полную версию книги](#)